хорошие
КНИГИ
в школе
и дома



СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

3–4 КЛАСС

Сказки русских писателей. 3-4 класс

Алексей Михайлович Ремизов, Антоний Погорельский, Николай Михайлович Карамзин, Орест Михайлович Сомов, Василий Андреевич Жуковский, Владимир Галактионович Короленко, Алексей Николаевич Толстой, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Лев Николаевич Толстой, Лидия Алексеевна Чарская, Всеволод Михайлович Гаршин, Владимир Фёдорович Одоевский

Аннотация
Сказки русских писателей. 3–4 класс
Николай Михайлович Карамзин. (1766–1826)
Прекрасная Царевна и счастливый карла. Старинная сказка, или Новая карикатура
Василий Андреевич Жуковский. (1783–1852)
Три пояса
Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о

премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери
Война мышей и лягушек. (Отрывок)
Антоний Алексеевич Погорельский. (1787–1836)
Чёрная курица, или Подземные жители
Орест Михайлович Сомов. (1793–1833)
Оборотень. Народная сказка
Сказка о медведе Костоломе и об Иване, купеческом сыне
Сказка о Никите Вдовиниче
Владимир Федорович Одоевский. (1803–1862)
Городок в табакерке
Лев Николаевич Толстой. (1828–1910)
Работник Емельян и пустой барабан
Праведный судья
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. (1852–1912)
Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку. Присказка
Владимир Галактионович Короленко. (1853–1921)
Стой, солнце, и не движись, луна!
Всеволод Михайлович Гаршин. (1855–1888)
Лягушка-путешественница
Лидия Алексеевна Чарская. (1875–1937)
Дочь сказки

Алексей Михайлович Ремизов. (1877–1957)
Купальские огни
Алексей Николаевич Толстой. (1883–1945)
Иван да Марья
Иван-царевич и Алая-Алица

Аннотация

В книге собраны лучшие классические сказки русских писателей, рекомендованные для прочтения в 3-4 классах.

Здесь вы найдете произведения Николая Карамзина, Василия Жуковского, Антония Погорельского, Ореста Сомова, Владимира Одоевского, Льва Толстого, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Владимира Короленко, Всеволода Гаршина, Лидии Чарской, Алексея Ремизова и Алексея Толстого.

Сказки русских писателей. 3–4 класс

В оформлении обложки использованы фрагменты работ художников *Бориса Зворыкина* и *Эрнеста Лисснера*



© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)

Прекрасная Царевна и счастливый карла
Старинная сказка, или Новая карикатура

О вы, некрасивые сыны человечества, безобразные творения шутливой натуры! вы, которые ни в чём не можете служить образцом художнику, когда он хочет представить изящность человеческой формы! вы, которые жалуетесь на природу и говорите, что она не дала вам способов нравиться и заградила для вас источник сладчайшего удовольствия в жизни — источник любви! не отчаивайтесь, друзья мои, и верьте, что вы ещё можете быть любезными и любимыми, что услужливые Зефиры ныне или завтра могут принести к вам какую-нибудь прелестную Психу, которая с восторгом бросится в объятия ваши и скажет, что нет ничего милее вас на свете. Выслушайте следующую повесть.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был *Царь добрый человек,* отец единой дочери, царевны прекрасной, милой сердцу родителя, любезной всякому чувствительному сердцу, ред-

кой, несравненной. Когда *Царь добрый человек,* одеянный богатою багряницею, увенчанный венцом сапфиро-рубинным, сидел на высоком троне среди народного множества и, держа в правой руке златой скипетр, судил с правдою своих подданных; когда, воздыхая из глубины сердца, изрекал приговор должного наказания, тогда являлась *прекрасная Царевна,* смотрела прямо в глаза родителю, подымала белую руку свою, простирала её к судящему, и пасмурное лицо правосудия вдруг озарялось солнцем милости, виновный, спасённый ею, клялся в душе своей быть с того времени добрым подданным царя доброго. Бедный ли приближался к *Царевне*? она помогала ему; печальный ли проливал слёзы? она утешала его. Все сироты в пространной области *Царя доброго человека* называли её матерью, и да же те, которых сама природа угнетала, несчастные, лишённые здравия, облегчались её целительною рукою, ибо *Царевна* совершенно знала науку врачевания, тайные силы трав и минералов, рос небесных и ключей подземных. Такова была душа *Царевнина.* Телесную красоту её описывали все стихотворцы тогдашних времён, как лучшее произведение искусной природы, а стихотворцы были тогда не такие льстецы, как ныне; не

называли они чёрного белым, карлы великаном и безобразия примером стройности. В древнем книгохранилище удалось мне найти одно из сих описаний; вот верный перевод его:

«Не так приятна полная луна, восходящая на небе между бесчисленными звёздами, как приятна наша милая *Царевна,* гуляющая по зелёным лугам с подругами своими; не так прекрасно сияют лучи светлого месяца, посребряя волнистые края седых облаков ночи, как сияют златые власы на плечах её; ходит она, как гордый лебедь, как любимая дочь неба; лазурь эфирная, на которой блистает звезда любви, звезда вечерняя, есть образ несравненных глаз её, тонкие брови, как радуги, изгибаются над ними, щёки, её подобны белым лилеям, когда утренняя заря красит их алым цветом своим; когда же отверзаются нежные уста *прекрасной Царевны,* два ряда чистейших жемчужин прельщают зрение; два холмика, вечным туманом покрытые… Но кто опишет все красоты её?»

Крылатая богиня, называемая Славою, была и в те времена так же словоохотлива, как ныне. Летая по всей подсолнечной, она рассказывала чудеса о *прекрасной Царевне* и не могла об ней наговориться. Из-за тридевяти земель приезжали

царевичи видеть красоту её, разбивали высокие шатры перед каменным дворцом *Царя доброго человека* и приходили к нему с поклоном. Он знал причину их посещения и радовался сердечно, желая достойного супруга милой своей дочери. Они видели *прекрасную Царевну* и воспламенялись любовию. Каждый из них говорил *Царю доброму человеку: «Царь добрый человек!* Я приехал из-за тридевяти земель, тридесятого царства; отец мой владеет народом бесчисленным, землёю, прекрасною; высоки терема наши, в них сияет серебро и золото, отливают разноцветные бархаты. *Царь!* отдай за меня дочь свою!» — «Ищи любви её!» — отвечал он, и все царевичи оставались во дворце его, пили и ели за столом дубовым, за скатертью *браною,* вместе с *Царём* и с *Царевною.* Каждый из них смотрел умильными глазами на прекрасную и взорами своими говорил весьма ясно: *«Царевна! полюби меня!»* Надобно знать, что любовники были в старину робки и стыдливы, как красные девушки, и не смели словесно изъясняться с владычицами сердец своих, в наши времена они гораздо смелее, но зато *красноречие взоров* потеряло ныне почти всю силу. Обожатели *прекрасной Царевны* употребляли ещё другой способ к изъявлению своей страсти, способ, ко-

торый также вышел у нас из моды. А именно, всякую ночь ходили они под окно *Царевнина* терема, играли на бандурах и пели тихим голосом жалобные песни, сочинённые стихотворцами их земель; каждый куплет заключался глубокими вздохами, которые и каменное сердце могли бы тронуть и размягчить до слёз. Когда пять, шесть, десять, двадцать любовников сходились там в одно время, тогда они бросали жеребий, кому петь прежде, и всякий в свою очередь начинал воспевать сердечную муку; другие же, поджав руки, ходили взад и вперёд и посматривали на окно *Царевнино,* которое, однако ж, ни для кого из них не отворялось. Потом все они возвращались в свои шатры и в глубоком сне забывали любовное горе.

Таким образом проходили дни, недели и месяца. *Прекрасная Царевна* взглядывала на того и на другого, на третьего и на четвёртого, но в глазах её не видно было ничего, кроме холодного равнодушия к женихам её, царевичам и королевичам. Наконец все они приступили к *Царю доброму человеку* и требовали единодушно, чтобы прекрасная дочь его объявила торжественно, кто из них нравен сердцу её. «Довольно пожили мы в каменном дворце твоём, — говорили они, — по-

ели хлеба-соли твоей и мёду сладкого не одну бочку опорожнили; время возвратиться нам во свои страны, к отцам, матерям и родным сёстрам. *Царь добрый человек!* мы хотим ведать, кто из нас будет зятем твоим». *Царь* отвечал им сими словами: «Любезные гости! если бы вы и несколько лет прожили во дворце моём, то, конечно бы, не наскучили хозяину, но не хочу удерживать вас против воли вашей и пойду теперь же к *Царевне.* Не могу ни в чём принуждать её; но кого она выберет, тот получит за нею в приданое всё царство моё и будет моим сыном и наследником». *Царь* пошёл в терем к дочери своей. Она сидела за пяльцами и шила золотом, но, увидев родителя, встала и поцеловала руку его. Он сел подле неё и сказал ей словами ласковыми: «Милая, разумная дочь моя, *прекрасная Царевна!* ты знаешь, что у меня нет детей, кроме тебя, света очей моих; род наш должен царствовать и в будущие веки: пора тебе о женихе думать. Давно живут у нас царевичи и прельщаются красотою твоею, выбери из них супруга, дочь моя, и утешь отца своего!» *Царевна* долго сидела в молчании, потупив в землю голубые глаза свои; наконец подняла их и устремила на родителя, тут две блестящие слёзы скатились с алых щёк её, подобно двум дождевым

каплям, свеваемым с розы дуновением зефира. «Любезный родитель мой! — сказала она нежным голосом. — Будет мне время горевать замужем. Ах! и птички любят волю, а замужняя женщина не имеет её. Теперь я живу и радуюсь; нет у меня ни забот, ни печали; думаю только о том, чтобы угождать моему родителю. Не могу ничем опорочить царевичей, но позволь, позволь мне остаться в девическом моём тереме!» *Царь добрый человек* прослезился. «Я нежный отец, а не тиран твой, — отвечал он *Царевне,* — благоразумные родители могут *управлять* склонностями детей своих, но не могут ни возбуждать, ни переменять оных; так искусный кормчий управляет кораблём, но не может сказать тишине: *превратися в ветер!* или восточному ветру: *будь западным!» Царь добрый человек* обнял дочь свою, вышел к принцам и сказал им с печальным видом и со всевозможною учтивостью, что *прекрасная Царевна* ни для кого из них не хочет оставить девического своего терема. Все царевичи приуныли, призадумались и повесили свои головы, ибо всякий из них надеялся быть супругом *прекрасной Царевны.* Один утирался белым платком, другой глядел в землю, третий закрывал глаза рукою, четвёртый щипал на себе платье, пятый

стоял, прислонясь к печке, и смотрел себе на нос, подобно индийскому брамину, размышляющему о естестве души человеческой, шестой… Но что в сию минуту делал шестой, седьмой и прочие, о том молчат летописи. Наконец все они вздохнули — так сильно, что едва не затряслись каменные стены, — и томным голосом принесли хозяину благодарность за угощение. В одно мгновение белые шатры перед дворцом исчезли, царевичи сели на коней и с грусти помчались во весь дух, каждый своею дорогою; пыль поднялась столбом и опять легла на своё место.

В царском дворце стало всё тихо и смирно, и *Царь добрый человек* принялся за обыкновенное дело своё, которое состояло в том, чтобы править подданными, как отец правит детьми, и распространять благоденствие в подвластной ему стране, — дело трудное, но святое и приятное! Однако ж у хлебосола редко бывает без гостей, и скоро по отъезде принцев приехал к царю странствующий астролог, гимнософист, маг, халдей, в высокой шапке, на которой изображены были луна и звёзды, прожил у него несколько недель, водил за *стол прекрасную Царевну,* как должно учтивому кавалеру, пил и ел по-философски, то есть за пятерых, и беспрестанно говорил об

умеренности и воздержании. Царь обходился с ним ласково, расспрашивал его о происшествиях света, о звёздах небесных, о рудах подземных, о птицах воздушных и находил удовольствие в беседе его. К чести сего странствующего рыцаря должно сказать, что он имел многие исторические, физические и философические сведения, и сердце человеческое было для него не совсем *тарабарскою грамотою,* то есть он знал людей и часто угадывал по глазам самые сокровеннейшие их чувства и мысли. В нынешнее время назвали бы его — не знаю чем, но в тогдашнее называли мудрецом. Правда, что всякий новый век приносит с собою новое понятие о сём слове. Сей мудрец, собравшись, наконец, ехать от *Царя доброго человека,* сказал ему сии слова: «В благодарность за твою ласку — (*и за твой хороший стол,* — мог бы он примолвить) — открою тебе важную тайну, важную для твоего сердца. *Царь добрый человек!* Ничто не скрыто от моей мудрости, не сокрыта от неё и душа твоей дочери, *прекрасной Царевны.* Знай, что она любит и хочет скрывать любовь свою. Растение, цветущее во мраке, прозябает и лишается красоты своей; любовь есть цвет души. Я не могу сказать более. Прости!» Он пожал у *Царя* руку, вышел, сел на осла и поехал в иную землю.

Царь добрый человек стоял в изумлении и не знал, что думать о словах мудрецовых: верить ли им или не верить, как вдруг явилась *Царевна,* поздравила отца своего с добрым утром и спросила, спокойно ли спал он в прошедшую ночь? «Очень беспокойно, любезная дочь моя! — отвечал *Царь добрый человек.* — Душу мою тревожили разные неприятные сны, из которых один остался в моей памяти. Мне казалось, что я вместе со многими людьми пришёл к дикой пещере, в которой смертные узнавали будущее. Всякий из нас желал о чём-нибудь спросить судьбу; всякий по очереди входил в сумрачный грот, освещённый одною лампадою, и писал на стене вопрос, через минуту на том же месте огненными буквами изображался ответ. Я хотел знать, скоро ли будут у меня милые внучата? и к ужасу моему увидел сии слова: *может быть, никогда.* Рука, моя дрожала, но я написал ещё другие вопросы: *Разве у дочери моей каменное сердце? разве она никогда любить не будет?* Последовал другой ответ: *Она уже любит, но не хочет открыть любви своей и крушится втайне.* Тут слёзы покатились из глаз моих; тронутое моё сердце излилось в нежных жалобах на тебя, *прекрасная Царевна! Чем я заслужил такую неискренность, такую недоверенность?*

Будет ли отец врагом любезной своей дочери? Могу ли противиться сердечному твоему выбору, милая Царевна? Не всегда ли желания твои были мне законом? Не бросался ли я на старости лет моих за тою бабочкою, которую ты хвалила? Не собственною ли рукою поливал я те цветочки, которые тебе нравились?» Тут *Царевна* заплакала, схватила руку отца своего, поцеловала её с жаром, сказала: «Батюшка! батюшка!» — взглянула ему в глаза и ушла в свой терем.

«Итак, мудрец сказал мне правду, — размышлял *Царь добрый человек,* — она не могла скрыть своего внутреннего движения. Жестокая! думал ли я… И для чего таить? Для чего было не сказать, который из царевичей пленил её сердце? Может быть, он не так богат, не так знатен, как другие; но разве мне надобны богатства и знатность? Разве мало у меня серебра и золота? Разве он не будет славен по жене своей? Надобно всё узнать». Он в ту же минуту решился идти к *прекрасной Царевне,* подошёл к дверям её терема и услышал голос мужчины, который говорил: «Нет, *прекрасная Царевна!* никогда отец твой не согласится признать меня зятем своим!» Сердце родителя сильно затрепетало. Он растворил дверь… Но какое перо опишет теперь его чувства? Что пред-

ставилось глазам его? Безобразный придворный карла, с горбом напереди, с горбом назади, обнимал *Царевну*, которая, проливая слёзы, осыпала его страстными поцелуями! Царь окаменел. *Прекрасная Царевна* бросилась перед ним на колени и сказала ему твёрдым голосом: «Родитель мой! умертви меня или отдай за любезного, милого, бесценного карлу! Никогда не буду супругою другого. Душа моя живёт его душою, сердце моё его сердцем. В жизни и в смерти мы неразлучны». Между тем карла стоял покойно и смотрел на царя с почтением, но без робости. Царь долго был неподвижен и безгласен. Наконец, воскликнув: «Что я вижу? что слышу?» — упал на кресла. *Царевна* обнимала его колени. Он взглянул на неё так, что прекрасная не могла снести сего взора и потупила глаза в землю. *«Ты, ты…»* — голос его перервался. Он посмотрел на карлу, вскочил, хлопнул дверью и ушёл.

«Как, как могла *прекрасная Царевна* полюбить горбатого карлу?» — спросит, или не спросит, читатель. Великий Шекспир говорит, что причина любви бывает без причины: хорошо сказано для поэта! но психолог тем не удовольствуется и захочет, чтобы мы показали ему, каким образом родилась сия склонность, по-видимому неверо-

ятная. Древние летописи, в изъяснение такого нравственного феномена, говорят следующее.

Придворный карла был человек отменно умный. Видя, что своенравная натура произвела его на свет маленьким уродцем, решился он заменить телесные недостатки душевными красотами, стал учиться с величайшею прилежностию, читал древних и новых авторов и, подобно афинскому ритору Демосфену, ходил на берег моря говорить волнам пышные речи, им сочиняемые. Таким образом скоро приобрёл он сие великое, сие драгоценное искусство, которое покоряет сердца людей и самого нечувствительного человека заставляет плакать и смеяться, то дарование и то искусство, которым фракийский Орфей пленял и зверей, и птиц, и леса, и камни, и реки, и ветры, — *красноречие*! Сверх того он имел приятный голос, играл хорошо на арфе и гитаре, пел трогательные песни своего сочинения и мог прекрасным образом оживлять полотно и бумагу, изображая на них или героев древности, или совершенство красоты женской, или кристальные ручейки, осеняемые высокими ивами и призывающие к сладкой дремоте утомлённого пастуха с пастушкою. Скоро слух о достоинствах и талантах чудного карлы разнёсся по всему городу и всему

государству. Все искали его знакомства: и старые, и молодые, и мужчины, и женщины — одним словом, умный карла вошёл в превеликую моду. Важная услуга, оказанная им отечеству… Но о сём будет говорено в другом месте.

Когда *прекрасной Царевне* было ещё не более десяти или двенадцати лет от роду, умный карла ходил к ней в терем сказывать сказки о благодетельных феях и злых волшебниках, под именами первых описывал он святые добродетели, которые делают человека счастливым, под именами последних гибельные пороки, которые ядовитым дыханием своим превращают цветущую долину жизни в юдоль мрака и смерти. *Царевна* часто проливала слёзы, слушая горестные похождения любезных принцев и принцесс, но радость сияла на прекрасном лице её, когда они, преодолев наконец многочисленные искушения рока, в объятиях любви наслаждались всею полнотою земного блаженства. Любя повести красноречивого карлы, неприметно полюбила она и повествователя, и проницательные глаза её открыли в нём самом те трогательные черты милой чувствительности, которые украшали романтических его героев. Сердце её сделало, так сказать, нежную привычку к его сердцу,

у которого научилось оно чувствовать. Самая наружность карлы стала ей приятна, ибо сия наружность была в глазах её образом прекрасной души; и скоро показалось царевне, что тот не может быть красавцем, кто ростом выше двадцати пяти вершков и у кого нет напереди и назади горба. Что принадлежит до нашего героя, то он, не имея слепого самолюбия, никак не думал, чтобы *Царевна* могла им пленяться, а потому и сам был почти равнодушен к её прелестям, ибо любовь не рождается без надежды. Но когда в минуту живейшей симпатии прекрасная сказала ему: «Я люблю тебя!» — когда вдруг открылось ему поле такого блаженства, о котором он прежде и мечтать не осмеливался, тогда в душе его мгновенно воспылали глубоко таившиеся искры, в восторге бросился он на колени перед *Царевною* и воскликнул в сладостном упоении сердца: *ты моя!* Правда, что он скоро образумился, вспомнил высокий род её, вспомнил себя и закрыл руками лицо своё, но *Царевна* поцеловала его и сказала: *«Я твоя или ничья!»* Девическая робость не позволяла ей открыться родителю в своей страсти.

«Сия любовь *прекрасной Царевны* хотя и к умному, но безобразному карле, — говорит один из насмешников тогдашнего времени, — приводит

на мысль того царя древности, который смертельно влюбился в лягушечьи глаза и, созвав мудрецов своего государства, спросил у них, что всего любезнее? *«Цветущая юность»,* — отвечал один по долгом размышлении; *«Красота»,* — отвечал другой; *«Науки»,* — отвечал третий; *«Царская милость»,* — отвечал четвёртый с низким поклоном, и так далее. Царь вздохнул, залился слезами и сказал: *«Нет, нет! Всего любезнее — лягушечьи глаза!»*

Теперь обратимся к нашей повести. Мы сказали, что *Царь добрый человек* хлопнул дверью и ушёл из царевнина терема, но не сказали куда. Итак, да будет известно читателям, что он ушёл в свою горницу, заперся там один, думал, думал и наконец призвал к себе карлу, *потом прекрасную Царевну,* говорил с ними долго и с жаром, но как и что, о том молчит история.

На другой день было объявлено во всём городе, что *Царь добрый человек* желает говорить с народом, и народ со всех сторон окружил дворец, так что негде было пасть яблоку. Царь вышел на балкон, и когда восклицания: *«Да здравствует наш добрый государь!»* — умолкли, спросил у своих подданных: *«Друзья, любите ли вы Царевну?»* Тысячи голосов отвечали: *«Мы обожаем*

прекрасную!»

Царь. Желаете ли, чтобы она избрала себе супруга?

Тысячи голосов. Ах! Желаем сердечно! Он должен быть твоим наследником, *Царь добрый человек!* Мы станем любить его, как тебя и дочь твою любим.

Царь. Но довольны ли вы будете её выбором?

Тысячи голосов. Кто мил *Царевне,* тот мил и твоим подданным!

В сию минуту поднялся на балконе занавес, явилась *прекрасная Царевна* в снегоцветной одежде, с распущенными волосами, которые, как златистый лён, развевались на плечах её, взглянула, как солнце, на толпы народные, и миллионы диких людей покорились бы сему взору. Карла стоял подле неё, спокойно и величаво смотрел на волнующийся народ, нежно и страстно на *Царевну.* Тысячи восклицали: *«Да здравствует прекрасная!»*

Царь, указывая на карлу, сказал: «Вот он, тот, кого *Царевна* вечно любить клянётся и с кем хочет она соединиться навеки!»

Все изумились, потом начали жужжать, как шмели, и говорили друг другу: *«Можно ли, можно ли… То ли нам послышалось? Как этому быть?*

Она прекрасна, она царская дочь, а он карла, горбат, не царский сын!»

«Я люблю его», — сказала *Царевна*, и после сих слов карла показался народу почти красавцем.

«Вы удивляетесь, — продолжал *Царь добрый человек*, — но так судьбе угодно. Я долго думал и наконец даю своё благословение. Впрочем, вам известно, что он имеет достоинства; не забыли вы, может быть, и важной услуги, оказанной им отечеству. Когда варвары под начальством гигантского царя своего, как грозная буря, приближались к нашему государству; когда серп выпал из рук устрашённого поселянина и бледный пастух в ужасе бежал от стада своего, тогда юный карла, один и безоружен, с масличною ветвию явился в стане неприятельском и запел сладостную песнь мира; умиление изобразилось на лицах варварских, царь их бросил меч из руки своей, обнял песнопевца, взял ветвь его и сказал: *«Мы друзья!»* Потом сей грозный гигант был мирным гостем моим, и тысячи его удалились от страны нашей. «Чем наградить тебя?» — спросил я тогда у юного карлы. *«Твоей милостию»*, — отвечал он с улыбкою. Теперь…»

Тут весь народ в один голос воскликнул: *«Да будет он супругом прекрасной Царевны! да цар-*

ствует над нами!»

Торжественная музыка загремела, загремели хоры и гимны. *Царь добрый человек* сложил руки любовников, и бракосочетание совершилось со всеми пышными обрядами.

Карла жил долго и счастливо с прекрасною своею супругою. Когда *Царь добрый человек*, после деятельной жизни, скончался блаженною смертию, то есть заснул, как утомлённый странник при шуме ручейка на зелёном лугу засыпает, тогда зять его в венце сапфиро-рубинном и с златым скипетром воссел на высоком троне и обещал народу царствовать с правдою. Он исполнил обет свой, и беспристрастная история назвала его одним из лучших владык земных. Дети его были прекрасны, подобно матери, и разумны, подобно родителю.

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)

Три пояса

В царствование великого князя Владимира, неподалёку от Киева, на берегу быстрого Днепра, в уединённой хижине жили три молодые девушки, сиротки, очень дружные между собою; одна называлась Пересветою, другая — Мирославою, а третья — Людмилою. Пересвета и Мирослава были прекрасны, как майский день; соседи называли их алыми розами, отчего они сделались несколько самолюбивы. Людмила была не красавица, никто её не хвалил, и подруги её, которых она любила всем сердцем, твердили ей каждый божий день: «Людмила, бедная Людмила, ты никогда не выйдешь замуж. Кто тебя полюбит, ты не красавица и не богата». Добрая Людмила верила им в простоте сердца и не печалилась: «Они говорят правду; я никогда не выйду замуж. Что ж нужды? Я буду любить Пересвету и Мирославу более всего на свете, буду ими любима, какого счастья желать мне более?» Так думала простосердечная Людмила, и чистая душа её была спокойна. Ей минуло пятнадцать лет, но ещё никакое смутное желание не волновало невинного её сердца; любить своих подруг, хо-

дить за цветами, распевать песни, как нежная малиновка, — таковы были все удовольствия доброй Людмилы.

В один день все три подруги гуляли по берегу ручья, осенённого соснами и берёзами. Пересвета и Мирослава рвали цветы для украшения головы своей, и Людмила также рвала их — для Пересветы и Мирославы: она воображала, что ей неприлично думать об украшении. Вдруг видят они на берегу ручья старушку, которая спала глубоким сном; солнечные лучи падали прямо на её голову, седую и почти лишённую волос. Пересвета и Мирослава засмеялись. «Сестрица, — сказала одна, — какова покажется тебе эта красавица?» — «Лучше тебя, Мирослава!» — «И тебя, Пересвета!» — «Шафран едва ли превзойдёт желтизною эти прекрасные щёки, покрытые приятными морщинами». — «А этот нос, Пересвета, не правда ли, что он очень скромно пригнулся к подбородку?» — «Сказать правду, и подбородок отвечает своею фигурою красивому носу. Они срослись, сестрица». В продолжение разговора и та и другая беспрестанно смеялись. «Ах, сестрицы, — сказала тихая Людмила, — вам не пристало смеяться над этою старушкою. Что она вам сделала? Она стара: её ли это вина? И вы

состареетесь в свою очередь, для чего же смеяться над тем недостатком, который непременно будете иметь сами. Смеяться над старыми — значит прежде времени смеяться над собою. Будьте рассудительны, скажу лучше — будьте жалостливы. Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной женщины. Наломаем берёзовых веток, сплетём вокруг неё маленький шалаш, чтоб сон её мог быть и спокоен и безопасен. Проснувшись, она благословит нас, будет за нас молиться; а небо всегда исполняет молитвы стариков и нищих, так говорила мне покойная матушка». Пересвета и Мирослава почувствовали вину свою; они наломали вместе с Людмилою берёзовых веток, сплели шалаш и прикрыли им голову спящей. Она скоро проснулась, увидела над собою тень, удивилась, начала осматриваться — перед нею стояли Пересвета, Мирослава и Людмила. «Благодарю вас, милые незнакомки, — сказала она, — приближьтесь, хочу оставить вам памятник моей благодарности. Вот три пояса; каждая из вас может выбрать для себя тот, который покажется ей лучше и более к лицу». Старушка кладёт на траву три пояса: два из них были чрезвычайно богаты, из крупного жемчуга и алмазов; третий был простая, необыкновенной белизны лента,

украшенная фиалками. Пересвета и Мирослава бросились на жемчуг и алмазы; Людмиле досталась белая лента. «Благодарю тебя, — сказала она старушке, — этот простой убор мне приличнее. Пересвета и Мирослава прекрасны лицом: им должно иметь и одежду прекрасную; а для меня довольно простой и самой скромной». — «Ты говоришь правду, мой друг, — сказала старушка Людмиле, надевая на неё пояс, — никогда, ни за какие сокровища в свете не снимай с себя этой ленты; не верь людям, которые будут говорить, что он тебе не к лицу; остерегайся обольщения гордости: потеряв этот пояс, ты потеряешь и счастье, с ним неразлучное». Людмила поцеловала старушку и дала ей слово не отдавать никому подарка. Старушка исчезла. Пересвета и Мирослава не могли вслушаться в её слова; они с восхищением рассматривали свои жемчуги и алмазы и едва успели сказать, что они очень ей благодарны.

Пересвета и Мирослава взялись за руки и побежали в свою хижину. Людмила, заметив, что они имели между собою тайну, шла за ними издали. «Не правда ли, — сказала наконец Мирослава, оборотясь к Людмиле, — что эта смешная старушка сделала тебе чрезвычайно богатый подарок?» — «Не богатый, но очень для меня при-

ятный; я не люблю пышности». — «Но для чего бы ей не сравнять тебя с нами?» — «Я об этом не подумала. То, что мне дают, приятнее для меня того, в чём мне отказывают». — «Посмотри, как наши алмазы блистают». — «Посмотрите на мою ленту, как она бела!» — «И тебе не завидно?» — «Можно ли завидовать тем, которых любишь? Я довольна, если вы счастливы». — «Ты добрая девушка, Людмила. Останься дома, а мы пойдём в Киев покупать новые платья: наши слишком бедны для таких поясов, которые украшены алмазами и жемчугом. За одну жемчужину можем купить десять пар самого богатого платья». Пересвета и Мирослава пошли в Киев; Людмила осталась дома поливать цветы и кормить своих птичек.

Ввечеру Мирослава и Пересвета возвратились в хижину с великим запасом богатых уборов. «Важная новость, сестрица, — сказала Пересвета Людмиле, — молодой князь Святослав, Владимиров сын, прекрасный, как весенний день, и храбрый, как богатырь Добрыня, хочет выбирать себе невесту. Множество красавиц, боярских дочерей и даже простых поселянок, собирается в Киев из дальних русских городов, из деревень и хижин. Кто ж запретит и нам искать руки прекрасного князя Святослава? Бог дал нам

красоту, а добрая старушка наградила нас богатством. Мирослава и я хотим переселиться в Киев: каждая из нас благодаря своему драгоценному поясу может с честию и отличием показаться в люди. Мы решились и завтра отправляемся в Киев. И ты, добродушная Людмила, можешь за нами последовать; ты будешь смотреть за нашим домом, а наконец увидишь и церемонию выбора, которая должна быть чрезвычайно великолепна». — «Охотно исполню ваше желание, сестрицы, — отвечала с весёлою улыбкою Людмила, — буду служить вам от всего сердца: ваше удовольствие составляет моё счастие. Старайтесь пленить прекрасного князя, а я буду молить бога, чтобы он склонил к вам его сердце».

Что сказано, то и сделано. Подруги на другой день, рано поутру, отправились в Киев. Мирослава и Пересвета объявили себя дочерями богатых новогородских посадников. Один из бояр Владимировых записал имена их в число желающих представить себя на выбор князю Святославу. Людмила не показалась никому; она молилась богу о счастии своих подруг, шила им платья, низала для них ожерелья, выкладывала золотым галуном и алмазами их сарафаны; забывая самую себя, она жила для одних милых подруг своих.

Наконец наступил торжественный день выбора. Ввечеру дворец великого князя Владимира осветился тысячами светильников; палата, назначенная для торжества, обита была малиновым бархатом; скамейки, на которых надлежало сидеть красавицам, иногородним и киевским, были покрыты шёлковыми коврами с золотою бахромою, а для великого князя Владимира и князя Святослава приготовили возвышенное место, на котором стояли два кресла из слоновой кости с золотою насечкою. На улице, ведущей к княжескому двору, теснилось множество народа, и горели огни разноцветные. Наконец зазвучали бубны — представилось зрелище восхитительное: сто красавиц, цветущих, как весенние розы, идут попарно, среди восхищённой толпы киевлян, ко дворцу великого князя; каждая из них имеет при себе прислужницу: Людмила сопутствует Пересвете и Мирославе. Людмила одета была в белое платье и опоясана своим поясом; русые волосы её, заплетённые косою, были перевиты простою лентою. Она приближилась с сильным трепетом сердца к палате князя Владимира, села позади своих подруг и с тайным, робким предчувствием смотрела на дверь, в которую должны были войти великий князь

Владимир и сын его Святослав прекрасный. Долго царствовала глубокая тишина в княжеской палате. Вдруг заиграла военная музыка; двери растворились с шумом; входят попарно бояре и богатыри, одни в богатых парчовых платьях, другие в великолепных военных доспехах, в золотых кольчугах, в блестящих шлемах, осенённых белыми перьями. Они разделяются и становятся по обеим сторонам княжеского трона. Утихает бранная музыка; играют нежные флейты; все глаза обращены на отверстые двери; вдруг является князь Владимир в богатом княжеском уборе; он ведёт за руку молодого Святослава, одетого просто, с открытою головою, с разбросанными по плечам светло-русыми кудрями, прелестного, цветущего молодостию: на щеках его играл румянец, свежий, как весенняя роза; в глазах, больших, чёрных и осенённых густыми ресницами, сияло нежное пламя; стан его был гибок и строен, походка величественна, все движения приятны. Ах, Людмила, бедная Людмила, что сделалось с твоим сердцем при первом взгляде на прекрасного юношу? «Для чего я не красавица, для чего я не богата?» — подумала она, вздохнула, опустила глаза на грудь свою, которая волновалась сильнее прежнего; но скоро опять,

против воли, устремила их на прелестного князя, который стоял один, посреди обширной палаты, прекрасный, как ангел в виде человека… Но что же она почувствовала?.. Вся душа её пришла в волнение… глаза её встретились с глазами прекрасного Святослава. О небо, он подходит к ней. Мирослава и Пересвета встают, думая, что выбор должен пасть на одну из них… Святослав подаёт руку Людмиле. «Вот она, — говорит он, — вот та, которая представлялась душе моей и наяву и в мечтах сновидения. Ей отдаю и руку и сердце». Людмила едва не лишилась памяти; она не верила своим ушам, трепетала, бледнела, краснела… Святослав подводит наречённую свою невесту к великому князю Владимиру, потом сажает её подле его на кресло из слоновой кости с золотою насечкою. В палате послышался ропот. «Какой выбор!» — шептали оскорблённые красавицы, смотря на скромную Людмилу, одетую просто и совсем не имущую красоты блестящей. Пересвета и Мирослава были вне себя от досады и зависти. «Кто бы это подумал, — говорили они одна другой, — нам предпочесть Людмилу; какое ослепление!» Мужчины также смотрели на Людмилу, но чувства их были другого рода. «Как она прелестна! — восклицали и старики и

молодые, — какая привлекательная скромность, какой невинный взгляд, какая нежная, милая душа изображается на лице её, приятном, как душистая *маткина-душка*!» Людмила сама не понимала того нежного чувства, которым наполнено было её сердце; она не смела взглянуть на прекрасного князя Святослава и ещё более украшала себя милым своим смятением. Святослав пожимал её руку и ободрял её пламенным своим взглядом.

Но великий князь Владимир начал говорить, и всё утихло. «Сын мой, — сказал он прекрасному Святославу, — твой выбор приятен моему родительскому сердцу; но красота не одно достоинство супруги; хочу, чтобы она соединена была с качествами и дарованиями более надёжными. Избранная тобою невеста превосходит всех других прелестями лица: посмотрим, сравняются ли они с нею дарованиями и умом». Людмила побледнела, услышав слова великого князя Владимира. «Ах! — воскликнула она. — Я ничему не училась! Это минутное торжество послужит только к тому, чтобы доказать всему свету моё невежество. Отпусти меня, великий князь Владимир; я пришла сюда не для того, чтобы оспаривать у других, более достойных,

то счастие, для которого я не рождена судьбою; я пришла насладиться счастием милых подруг моих. Отпусти меня, мой жребий скрываться в бедной хижине, ходить за цветами, довольствоваться уделом низким и никогда не мечтать о пышном троне». Князь Владимир посмотрел с улыбкою благоволения на скромную Людмилу и приказал ей остаться на своём месте. Приносят стройные гусли. Все красавицы, каждая в свою очередь, пели песни в похвалу храбрых витязей или в похвалу нежной любви; каждая изображала то чувство, которое влекло её душу к прекрасному князю Святославу. Пришла очередь Людмилы: она бледнеет, трепещет; вдруг кто-то невидимый шепчет ей на ухо: «Людмила, ободрись; хранительные взоры мои над тобой, спой ту песню, которую научила тебя твоя мать; ты ещё не знаешь, какими дарованиями наградила тебя природа». Людмила узнает голос благодетельной волшебницы, той старушки, которая подарила ей пояс. Она идёт к гуслям, садится… о чудо! пальцы её с лёгкостию ветерка летают по струнам; голос её имеет чистоту и звонкость соловьиного: он льётся в душу, он возбуждает в ней сладкое восхищение, погружает её в задумчивость, производит в ней томную мечтательность. Людмила

поёт ту песню, которую мать певала, качая её в колыбели:

«Роза, весенний цвет,
Скройся под тень
Рощи развесистой.
Бойся лучей
Солнца палящего.
Нежный цветок!»
Так мотылёк златой
Розе шептал.

Розе невнятен был
Скромный совет;
Роза пленяется
Блеском одним!
«Солнце блестящее
Любит меня;
Мне ли, красавице,
Тени искать?»

Гордость безумная!
Бедный цветок!
Солнце рассыпало

Гибельный луч:
Роза поникнула
Пышной главой,
Листья поблекнули,
Запах исчез.

Девица красная,
Нежный цветок!
Розы надменныя
Помни пример.
Маткиной-душкою
Скромно цвети,
С мирной невинностью,
Цветом души.

Данный судьбиною
Скромный удел,
Девица красная,
Счастье твоё!
В роще скрываяся,
Ясный ручей,
Бури не ведая,
Мирно журчит!

Людмила замолчала; но голос её отдавался ещё в сердцах слушателей. Молодой князь, в неописанном восхищении, прижимает её к сердцу: «Нет, ты не можешь быть смертная; ты ангел, слетевший с неба для того, чтобы сделать счастливым Святослава!» — «Ах! я бедная Людмила; сама не постигаю того, что делается со мною; какое-нибудь очарование ослепило ваши взоры. Вы думаете, что я красавица; это обман, я никогда не бывала прекрасною. Святослав, ты хочешь возвести меня на трон; но я рождена поселянкою, рождена для бедной и неизвестной хижины».

Опять заиграла музыка, и началась пляска. Соперницы Людмилы очаровали зрителей своими приятными движениями, своею лёгкостию, своею быстротою; но Людмила, снова ободрённая голосом волшебницы, затмила искусство прелестию простоты: во всех её движениях было что-то очаровательное — скромность, соединённая с милою весёлостию. Она являла глазам невинность, играющую с удовольствием; зрители не могли довольно на неё насмотреться; сердца летели за нею вслед… Но музыка замолчала. Людмила, с потупленными глазами, с разгоревшимся румянцем на щеках, села на своё место, не смела радоваться, не смела взглянуть на Святослава

прекрасного.

Давно уже прошла половина ночи. Великий князь берёт Святослава за руку, и они выходят из палаты с боярами и богатырями; красавицы удалились — но ещё испытание не окончилось: оно должно было продолжаться три дни сряду. Людмилу отвели в дворцовый терем, убранный великолепно; приставили к ней множество прислужниц. Она осталась одна, погружённая в задумчивость, с новыми, доселе незнакомыми ей чувствами, и с милым образом прелестного Святослава в душе своей.

И мы, оставя на время Людмилу, вспомним о двух подругах её, Пересвете и Мирославе. «Могли ли мы это вообразить! — сказала Мирослава Пересвете, возвратившись с нею домой. — Нам предпочесть Людмилу! Конечно, они слепы. Нельзя, чтобы это было естественно! Как ты думаешь, Пересвета? Не скрывается ли какой-нибудь талисман в том поясе, который подарила ей старая волшебница? Будучи к нам столь щедрою, могла ли она позабыть Людмилу? Конечно, простой её пояс драгоценнее наших, осыпанных жемчугом и алмазами. Заметила ли ты, как он блистал на ней вчера ввечеру?» — «Так, Мирослава, ты говоришь правду: Людмила имеет талисман, которому

сама не знает цены: должно его похитить. Тогда увидим, помрачит ли она и тебя и меня своими дарованиями, своею красотою».

На другой день рано поутру Пересвета и Мирослава идут в терем Людмилы; она бросается к ним в объятия, целует их с восторгом и краснеет, внимая неискренним их поздравлениям. «Милые подруги, — говорит им скромная Людмила, — сама стыжусь тех почестей, которыми вчера была я осыпана; сама не понимаю, как могли предпочесть меня, бедную, некрасивую Людмилу, вам, прекрасным, богатым, достойным всякого предпочтения». — «Добрая Людмила, — отвечала Мирослава, — странное для тебя кажется для нас весьма естественным; мы не завидуем, но искренно радуемся твоему счастию. Время открыть тебе глаза: перестань почитать себя не красавицей. Бог наградил тебя лицом прелестным; из любви к тебе называли мы тебя дурною: похвалы могли бы испортить твоё невинное сердце. Теперь притворство бесполезно, и тебе наконец должно узнать, милая Людмила, что ты превосходишь всех других женщин красотою, любезностию, дарованиями». — «Сестрицы, не смеётесь ли вы надо мною?» — «Ах, мой друг, как можешь это о нас подумать? Мы говорим истинную правду. Но

позволь нам сделать тебе одно дружеское замечание: ты имеешь два недостатка, весьма важных и препятствующих тебе воспользоваться дарами природы: ты слишком застенчива и слишком небрежна в своей одежде. Нынче ввечеру опять будем представлены великому князю Владимиру и сыну его, Святославу прекрасному; говорят, что в Киев приехала какая-то псковитянка, ангел красотою и чрезвычайно искусная в одежде: бойся, чтобы она не похитила у тебя любви прекрасного Святослава; нарядись как можно лучше. Красоте твоей прилична и одежда пышная; мы принесли тебе на выбор несколько платьев. Надень то, которое покажется тебе к лицу, а мы будем радоваться твоей победе».

Мирослава и Пересвета расстилают перед глазами Людмилы несколько великолепных уборов. Новое чувство родилось в душе невинной девушки; она вообразила себя первою красавицею во всей русской земле и покраснела, взглянувши на простой и бедный убор свой. Она примеряла принесённые платья одно за другим; выбрала самое великолепное; хотела надеть богатый пояс сверх белой ленты, которую получила в подарок от старушки, но по несчастию пояс был слишком мал. Пересвета и Мирослава уговари-

вают её пожертвовать бедною лентою пышному жемчужному поясу. Людмила колеблется. Наконец уступает их требованиям, отдаёт Пересвете белую ленту и надевает жемчужный пояс. «Какой стройный, прелестный стан! — восклицают обе подруги. — Эта псковитянка явилась в Киев только для того, чтобы сделать ещё славнее торжество нашей Людмилы. Прости, милая подруга; ввечеру увидимся во дворце князя Владимира». Они разлучились. Людмила, в восхищении от нового богатого убора, любуется на самую себя в зеркало, примеривает жемчужный пояс, и белая лента совсем забыта. Ах, Людмила, и ты занимаешься красотою своею, как суетная, надменная прелестница, и ты смотришь в зеркало, а прежде и в светлый ручей смотрела ты только для того, чтобы любоваться его чистотою, лёгкими струйками и блестящими камушками, на дне его рассыпанными.

Наконец наступила желанная минута. Красавицы, бояре и богатыри стекаются в палату великого князя Владимира. Святослав прекрасный с волнением сердца смотрит на дверь, в которую должна войти Людмила; раздаются приятные звуки флейты; входит Людмила, покрытая белым покрывалом и окружённая множеством

прислужниц, богато одетых. Святослав летит к ней навстречу, нетерпеливою рукою срывает с головы её белый покров… Боже, какая перемена! Он не узнает Людмилы. «Что вижу! — восклицает изумлённый Святослав. — Кто ты, незнакомка, и где моя Людмила?» — «Я Людмила; ужели ты не узнал меня, Святослав прекрасный?» — «Ты Людмила? Не может быть, это обман!» Ропот негодования послышался в княжеской палате; никто не узнаёт Людмилы. Святослав удалился; он ищет смятенными взорами в толпе красавиц прекрасной девицы, пленившей его душу, но князь Владимир подымает руку, и всё опять умолкло. «Ты называешь себя Людмилою, — говорит он Людмиле, трепещущей и печальной, — верю твоим словам; верю, что красота твоя могла измениться в течение одного дня, но дарования твои должны быть неизменны. Подайте гусли; садись и спой нам ту самую песню, которую ты пела вчера». Людмила, несколько ободрённая, подходит к гуслям: о чудо! пальцы её неподвижны, голос дик и неприятен. Князь Владимир в великом гневе встаёт с престола, приказывает Людмиле удалиться; испытание отложено до следующего вечера.

Что сделалось с тобою, несчастная, добросер-

дечная Людмила? Ты плачешь, ты мучишься отчаянием, ты страждешь безнадёжною любовию! Где твоё прежнее спокойствие, где прежняя беспечность невинной души твоей? Сиротка, заливаясь слезами, оставляет Киев и спешит укрыться в бедную свою хижину, на берег светлого источника, под сень развесистых берёз, в которых провела она цветущую свою молодость. «Зачем, зачем я оставляла тебя, спокойная моя хижина!» — так думала бедная Людмила, идя через рощу по знакомой излучистой тропинке. Приближается к хижине и видит, что в ней горит огонь, испугалась, не знает, войти ли в неё или нет. Наконец решилась, отворяет дверь: что же? В хижине сидит старушка волшебница, её знакомка. Людмила остолбенела от удивления, несколько минут не говорила ни слова; наконец пришла в себя и залилась горькими слезами. «Ах! — сказала она старушке, — ты одна причиною моего несчастия! Для чего погибельным своим очарованием возвела ты меня вчера на трон, которого я не искала, о котором никогда не могла думать, и для чего теперь, когда пленительная надежда ослепила мою душу, когда любовь, произведённая тобою в моём сердце, сделалась для меня драгоценнее и самых почестей трона,

я вдруг лишена всего, покрыта стыдом, и от кого же? От тебя, которой я не сделала никакого зла; которой, напротив, хотела сделать добро, не ожидая никакой за то награды? Ах, для чего обольстила ты глаза прекрасного Святослава? Для чего вложила мне в душу безнадёжную любовь? Что ты будешь теперь, бедная Людмила, в своей уединённой хижине? Прекрасные места, в которых я родилась и провела мою молодость, теперь вы для меня темница! Душа моя в стенах пышного града Киева. Никогда не забуду о том, чего я лишилась, чем обладала одну минуту. Какое земное счастие может служить заменою того милого взора, который устремил на меня Святослав прекрасный, которым воспламенилось моё сердце, прежде спокойное, прежде весёлое. Ах, душистые мои цветы, вы увянете, кто будет вас поливать, кто будет за вами смотреть? Милые голосистые птички, вы перестанете слетаться к моей хижине: кто будет приносить вам зёрна и вторить вам своею весёлою песенкою? Буду сидеть на большой дороге, смотреть на отдалённый Киев-град и посылать в него свою душу. Что сделала я тебе, волшебница, чем навлекла на себя твоё гонение!» — «Выслушай меня, добросердечная Людмила, — отвечала волшеб-

ница, — мне легко перед тобой оправдаться. Я полюбила тебя с первого взгляда и в знак благодарности подарила тебе очарованный пояс, который имеет силу украшать всякую женщину. Девушка, обладающая им, торжествует над всеми своими соперницами, имеет все приятности, все дарования; но без него и приятности и дарования сии теряют всю свою силу: им удивляются, но перестают их любить. Для чего же, Людмила, не сберегла ты данного мною тебе сокровища? Для чего *пояс скромности* променяла на *пояс суетности*? Лишась талисмана, которому ты была обязана своим торжеством, ты потеряла и прелести, с ним соединённые; самые взоры твоего любовника не могли узнать тебя в новом твоём наряде». — «Ах! — воскликнула Людмила, — бедная, жалкая моя участь, я сама всему причиною, сама лишила себя своего счастия! Нет, уже никогда не видать мне прежнего времени. Улетело веселие души моей; умчались вы, прежние мои радости; никогда не переставать мне обливаться слезами: другая овладеет теперь душою Святослава прекрасного». Людмила закрыла обеими руками лицо своё и плакала горько. «Утешься, мой друг, — сказала волшебница, взяв её за руку с нежною улыбкою, — тебя обманули твоя неопыт-

ность и хитрость завистливых твоих подруг, Мирославы и Пересветы; но ты невинна в сердце. Возвращаю тебе потерянный пояс. Я следовала невидимо за Пересветою и Мирославою, когда они пошли от тебя со своею добычей. Между ними начался ужасный спор: каждая хотела иметь пояс, но он не достался ни одной: я унесла его и теперь возвращаю той, которая одна достойна обладать им по своему добросердечию и своей скромности». Людмила бросилась целовать руки благодетельной волшебницы, которая обтёрла ей слёзы, поцеловала её в розовые щёки и опоясала своею очарованною лентою.

Вдруг, по слову волшебницы, кровля низенькой хижины расступилась; глазам изумлённой Людмилы предстала великолепная колесница, в которую запряжены были два оленя с серебряною шерстию, с золотыми рогами и крыльями. На месте безобразной старушки явилась молодая женщина восхитительной красоты, одетая в очарованную одежду, из розовых лучей сотканную, и опоясанная белым поясом, на котором блистали золотые знаки зодиака. Добрада — так называлась волшебница — посадила Людмилу в колесницу; златорогие олени распустили свои золотые крылья, и менее, нежели в миг, колес-

ница очутилась перед стенами великолепного града Киева. Волшебница привела Людмилу в уединённый терем, запретила ей выходить из него до наступления вечера, благословила её и скрылась.

Наступил вечер. Людмила, одетая очень просто, опоясанная белою лентою, вошла в палату великого князя Владимира и села на прежнее своё место, позади Пересветы и Мирославы. Они её не приметили; они смеялись между собою над глупою её легковерностию и говорили друг другу о гордых своих надеждах. Но Людмила не думала о них; взоры её видели одного Святослава. Он сидел подле великого князя Владимира, на креслах из слоновой кости с золотою насечкою, задумавшись, склонивши на руку свою голову, не удостоивая ни одним взглядом окружавших его красавиц: душа его требовала одной Людмилы, один очаровательный образ Людмилы носился перед ним, как милый, пленительный призрак потерянного блаженства! Вдруг, о радость! он видит её на том же самом месте, на котором увидел в первый раз, в той же простой одежде; видит её, с сердечною, нежною любовию устремившую на него свои взоры. «О Людмила!» — восклицает он и бросается перед нею на колени. «Да здравствует

прелестная Людмила!» — воскликнули единогласно бояре, богатыри и витязи. Святослав, вне себя от восхищения, прижимает к сердцу милую свою невесту, которая с своим потупленным взором, с пылающими щеками своими казалась ангелом красоты и непорочности, подводит её к престолу великого князя Владимира и сажает по правую руку его на кресла из слоновой кости с золотою насечкою. Пересвета и Мирослава побледнели от зависти и досады. Заиграла музыка, и все опять должны были уступить Людмиле в искусстве пляски и пения. Опять затмила она своих соперниц, которые все единодушно, выключая одних Пересветы и Мирославы, согласились признать её победительницею и даже радовались её победе: столь сильны очарования скромной красоты, добродушия, непорочности. Вдруг раздаётся в палате пронзительный вопль… Что такое? Страшные змеи с отверстою пастию, с острым жалом, с горящими глазами обвивались вокруг Пересветы и Мирославы вместо жемчужных поясов. Людмила бросается к ним на помощь, желает спасти их от угрызения сих страшных чудовищ; её усилия напрасны. Зрители цепенеют от ужаса. Вдруг послышалось тихое пение, соединённое со звуками магических струн; в воздухе

распространился приятный запах роз и полевых фиалок; предстала волшебница Добрада, окружённая тихим розовым сиянием. Людмила бросилась перед нею на колени. «Спаси Пересвету и Мирославу!» — воскликнула она, простирая к ней руки. «Добрая Людмила, — отвечала волшебница, — соглашаюсь простить их из любви к тебе. Змеи, которыми они обвиты, суть ядовитые змеи *самолюбия и зависти.* Прикоснись к ним своей белою лентою, и они исчезнут». Людмила исполнила приказание Добрады, и змеи исчезли. Пересвета и Мирослава кинулись в объятия своей добросердечной подруги; они поклялись питать к ней искреннюю дружбу; они полюбили ту, которую за минуту ненавидели, которую желали ввергнуть в погибель.

Великий князь Владимир благословил своего сына и Людмилу. «О Святослав, — сказала прелестная невеста прелестному жениху своему, показывая на волшебницу Добраду, — вот моя благодетельница, вот та, которой обязана я твоим сердцем! Ах, за три дня перед сим была я не иное что, как бедная Людмила, простая поселянка; но теперь… Нет, никогда не была бы я замечена взорами Святослава прекрасного, когда бы могущество благодетельной Добрады не украсило

меня теми приятностями, теми дарованиями, в которых мне отказала природа. Так, Святослав, в этом очарованном поясе заключены и красота моя и все мои таланты».

Скромное сие признание украсило ещё более в глазах Святослава его прелестную Людмилу. «Друг мой, — сказала Добрада, — храни этот пояс, драгоценный дар моей дружбы: ничто не может лучше его украсить женщины, где бы она ни была, в бедной ли хижине, в чертогах ли княжеских; нося его, ты будешь обожаема своим супругом, своими друзьями и подданными, обожаема до последней минуты».

Добрада исчезла. Нужно ли сказывать о том, что случилось после? И можно ли вообразить, чтобы Святослав не был счастлив, обладая Людмилою?

Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери

Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года

Был он женат и жил в согласье с женою; но все им

Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.

Ну́жда случилась царю осмотреть свое государство;

Он простился с царицей и восемь месяцев ровно

Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,

К царской столице своей подъезжая, на поле чистом

В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;

Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось

Выпить студеной воды. Но поле было безводно…

Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился

Сам объехать все поле: авось, попадется на счастье

Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно

Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою

Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик

Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик – не тут-то

Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку

Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает

Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево,

Только что дразнит царя и никак не дается.

Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик

Стал на место, хвать его разом справа и слева —

Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он

Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность

Выплыл, как будто ни в чем не бывало. «Постой же! (подумал

Царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго сбираясь,

Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую

Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула

Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он

Голову хочет… ан нет, погоди! не пускают; и кто-то

Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,

Силится он оторваться, трясет, вертит головою —

Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» – кричит он.

Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:

Два огромные глаза горят, как два изумруда;

Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда

Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами

Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко

Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый

Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;

Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,

Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь».

Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю

Все!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен».

«Ладно! – опять сиповатый послышался голос. – Смотри же,

Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа».

С этим словом исчезли клешни; образина пропала.

Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,

Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.

Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,

Только уж вот он близко столицы; навстречу толпами

Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях

Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам —

Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей

Рядом первый министр; на руках он своих парчевую

Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный как светлый

Месяц, в пеленках колышется. Царь догадался и ахнул.

«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый

Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал;

Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца

На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,

Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе

Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне

Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко

Царь был печален – он все дожидался; вот при́дут за сыном;

Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.

Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич

Рос не по дням – по часам; и сделался чудо-красавец.

Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,

Вовсе забыл… но другие не так забывчивы были.

Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую

Чащу заехал один. Он смотрит: все дико; поляна;

Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.

Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда

Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами

Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич, – сказал он. —

Долго тебя дожидалися мы; пора бы нас вспомнить». —

«Кто ты?» – царевич спросил. «Об этом после; теперь же

Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,

Мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли,

Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось

Время. Он сам остальное поймет. До свиданья». И с этим

Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич

В крепкой думе поехал обратно из темного леса.

Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.

«Батюшка царь-государь, – говорит он, – со мною случилось

Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.

Царь Берендей побледнел как мертвец. «Беда, мой сердечный

Друг, Иван-царевич! – воскликнул он, горькозаплакав. —

Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной

Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель,—

Так отвечал Иван-царевич, – беда невели́ка.

Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;

Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто не проведал,

Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я

К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж

Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно

В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые

Латы, меч и коня вороного; царица с мощами

Крест на шею надела ему; отпели молебен;

Нежно потом обнялися, поплакали… с богом! Поехал

В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет

День он, другой и третий; в исходе четвертого – солнце

Только успело зайти – подъезжает он к озеру; гладко

Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;

Все в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем

Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый

Берег и частый тростник – и все как будто бы дремлет;

Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках

Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же

Видит он? Тридцать хохлатых серень-ких уточек подле

Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек

Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль

Слез Иван-царевич с коня; высокой травою

Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько

Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.

Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют...

Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли

К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой

К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились

В красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли.

Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,

Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком

Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,

Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет...

Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит

К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим

Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне

Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею

Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно

Прочь отошедши, стал за кустом. Встрепенулась на травку

Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица

В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна

Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и, краснея,

Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,

Голосом звонким, как струны, ему говорит: «Благодарствуй,

Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;

Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен

Будешь: я дочь Кощея Бессмертного, Марья-царевна;

Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным

Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает

В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,

Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:

Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,

Прямо к нему поползи; затопает он – не пугайся;

Станет ругаться – не слушай; ползи да и только; что после

Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна

В землю ударила маленькой ножкой своей; расступилась

Тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились.

Видят дворец Кощея Бессмертного; высечен был он

Весь из карбункула камня и ярче небесного солнца

Все под землей освещал. Иван-царевич отважно

Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;

Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.

Только завидел его вдалеке, тотчас на колени

Стал Иван-царевич. Кощей же затопал, сверкнуло

Страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что своды

Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны

Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу;

Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок

Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, – сказал он,—

Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою

Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим

К нам в подземельное царство; но знай, за твое ослушанье

Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся мы завтра;

Ныне уж поздно; поди». Тут два при-
дворных проворно
Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили
Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался
Там он один. Беззаботно он лег на по-
стелю и скоро
Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру
Царь Кощей к себе Ивана-царевича кли-
кнул:
«Ну, Иван-царевич, – сказал он, – теперь мы посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить
Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный
Сад, и в саду пруды с карасями; если по-
строишь

Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;

Если же нет, то прошу не пенять… головы не удержишь!» —

«Ах ты, Кощей окаянный, – Иван-царевич подумал, —

Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной

Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж вечер;

Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,

Бьется об стекла – и слышит он голос: «Впусти!» Отворил он

Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась

Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич; о чем ты

Так призадумался?» – «Нехотя будешь задумчив, – сказал он. —

Батюшка твой до моей головы добирается». – «Что же

Сделать решился ты?» – «Что? Ничего. Пускай его снимет

Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь». —

«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам

Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;

Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися

Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой построен

Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай в стену».

Так все и сделалось. Утром, ни свет ни заря, из каморки

Вышел Иван-царевич… глядит, а дворец уж построен.

Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился;

Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку, —

Так он сказал Ивану-царевичу, – вижу, ты ловок

На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив.

Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.

Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь

Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки

Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь —

С плеч голова. Поди». – «Уж выдумал, чучела, мудрость, —

Думал Иван-царевич, сидя под окном. – Не узнать мне

Марью-царевну… какая ж тут трудность?» – «А трудность такая, —

Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши, – что если

Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас

Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое

Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью

Может нас различать». – «Ну что же мне делать?» – «А вот что:

Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь

Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько,

Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла.

Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет

Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком

Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник, —

Молвил Кощей, – изволь-ка пройтиться три раза мимо

Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам

Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он

В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит

В первый раз – мошки нет; проходит в другой раз – все мошки

Нет; проходит в третий и видит – крадется мошка,

Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-
то под нею

Так и горит; загорелось и в нем, и с тре-
пещущим сердцем:

«Вот она, Марья-царевна!» – сказал он
Кощею, подавши

Руку красавице с мошкой. «Э! э! да тут,
примечаю,

Что-то нечисто, – Кощей проворчал, на
царевича с сердцем

Выпучив оба зеленые глаза. – Правда,
узнал ты

Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-
то и хитрость;

Верно, с грехом пополам. Погоди же,
теперь доберуся

Я до тебя. Часа через три ты опять к
нам пожалуй;

Рады мы гостю, а ты нам свою премуд-
рость на деле

Здесь покажи: зажгу я соломинку; ты
же, покуда

Будет гореть та соломинка, здесь, не
трогаясь с места,

Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только

Знай наперед: не сошьешь – долой голова; до свиданья».

Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка

Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,

Милый Иван-царевич?» – спросила она. «Поневоле

Будешь задумчив, – он ей отвечал. – Отец твой затеял

Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;

Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже

Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много

Этих бессмертных». – «Иван-царевич, да что же ты будешь

Делать?» – «Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану.

Снимет он голову – черт с ним, с собакой! какая мне нужда!» —

«Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;

Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся

Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого

Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна

Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу; из каморки

Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,

Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула.

За руки взявшись потом, они поднялися и мигом

Там очутились, откуда сошли в подземельное царство:

То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий

Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет

Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий

Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался

Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю

Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,

Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.

Царь Кощей в назначенный час посылает придворных

Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго

Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят;

Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им слюнки,

Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: буду.

Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;

Ждать-подождать – царевич нейдет; посылает в другой раз

Тех же послов рассержéнный Кощей, и та же всё песня:

Буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться,

Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать и в минуту

За ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились слуги…

Двери разломаны… вот тебе раз; никого там, а слюнки

Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.

Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее

Все в погоню за ним!.. я всех перевешаю, если

Он убежит!..» Помчалась погоня… «Мне слышится топот», —

Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись

Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши

Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». – «Так медлить

*Нечего», – Марья-царевна сказала, и в ту же минуту

Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным

Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога

На три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня

Скачет по свежему следу; но, к речке примчавшися, стали

В пень Кощеевы слуги: след до мостика виден;

Дале ж и след пропадает и делится на три дорога.

Нечего делать – назад! Воротились разумники. Страшно

Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.

«Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться

Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно

Здесь он!..» Опять помчалась погоня… «Мне слышится топот», —

Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.

Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей:

«Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-царевна

Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их, дремучим

Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок числа нет;

По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется.

Вот по свежему следу гонцы примчались к лесу;

Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.

Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство.

Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;

Кажется, близко; ну только б схватить; ан нет, не дается.

Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство,

В самом том месте, откуда пустились в погоню; и скрылось

Всё: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками

Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,

Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня мне!

Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»

Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько

Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей отвечает:

«Скачут, и близко». «Беда нам! Ведь это Кощей, мой родитель

Сам; но у первой церкви граница его государства;

Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне

Крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны, снимает

С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки

Ей подает, и в минуту она обратилася в церковь,

Он в монаха, а конь в колокольню – и в ту же минуту

С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли проезжих,

Старец честной?» – он спросил у монаха. «Сейчас проезжали

Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили

В церковь они – святым помолились да мне приказали

Свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться,

Если ко мне ты заедешь». – «Чтоб шею сломить им, проклятым!» —

Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный помчался

С свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно

Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею

Марьей-царевной поехали дале, уже не бояся

Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось

Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними

Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось

В этот город заехать. «Иван-царевич, – сказала

Марья-царевна, – не езди; недаром вещее сердце

Ноет во мне: беда приключится». – «Чего ты боишься,

Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим

Город, потом и назад». – «Заехать нетрудно, да трудно

Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь

Белым камнем лежать у дороги; смотри же, мой милый,

Будь осторожен: царь, и царица, и дочь их царевна

Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец

Будет; младенца того не целуй: поцелуешь – забудешь

Тотчас меня; тогда и я не останусь на свете,

С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги,

Буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий

День не придешь… но прости, поезжай». И в город поехал,

С нею простяся, Иван-царевич один. У дороги

Белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит

День, проходит другой, напоследок проходит и третий —

Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!

Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли

Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;

Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка,

Живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился прямо

В руки Ивану-царевичу; он же его красотою

Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки

Начал его целовать; и в эту минуту затмилась

Память его, и он позабыл о Марье-царевне.

Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне

Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня

Марья-царевна в лазоревый цвет полевой превратилась.

«Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет

Кто-нибудь в землю меня», – сказала она, и росинки

Слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время

Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;

Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл

С корнем его, и в избушку свою перенес, и в корытце

Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком

Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты

Всё не по-старому стало в избушке; чудесное что-то

Начало деяться в ней: проснется старик – а в избушке

Всё уж как надобно прибрано; нет нигде ни пылинки.

В полдень придет он домой – а обед уж состряпан, и чистой

Скатертью стол уж накрыт: садися и ешь на здоровье.

Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок

Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки

Начал совета просить, что делать. «А вот что ты сделай, —

Так отвечала ему ворожейка, – встань ты до первой

Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба

Глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться,

То ты вот этим платком и накрой. Что будет, увидишь».

Целую ночь напролет старик пролежал на постеле,

Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке

Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся,

С тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке;

Все между тем по местам становилось, повсюду сметалась

Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели

Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась

Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.

«Что ты сделал? – сказала она. – Зачем возвратил ты

Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич прекрасный,

Бросил меня, и я им забыта». – «Иван твой царевич

Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен, и гости

Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;

Слезы потом отерла; потом, в сарафан нарядившись,

В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню;

Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;

Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна, приближась

К старшему повару, с видом умильным и сладким, как флейта,

Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай, позволь мне

Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,

Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово

Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел

Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым взглядом:

«В добрый час, девица-красавица; все, что угодно

Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».

Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,

Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар

Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде

Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем; гости

Все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку

Срезал с него Иван-царевич – новое чудо!

Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.

Голубь по́ столу ходит; голубка за ним и воркует:

«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне ты забудешь

Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»

Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;

Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а за дверью

Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же

Конь вороной с нетерпенья, оседланный, взнузданный, пляшет.

Нечего медлить; поехал Иван-царевич с своею

Марьей-царевной; едут да едут, и вот приезжают

В царство царя Берендея они. И царь и царица

Приняли их с веселием таким, что такого веселья

Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали

Думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости,

Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво

Пил; по усам текло, да в рот не попало. И все тут.

Война мышей и лягушек (Отрывок)

Слушайте: я расскажу вам, друзья,

про мышей и лягушек.

Сказка ложь, а песня быль, говорят нам;

но в этой

Сказке моей найдётся и правда. Милости ж

просим

Тех, кто охотник в досужный часок пошутить,

посмеяться,

Сказки послушать, а тех, кто любит смотреть

исподлобья,

Всякую шутку считая за грех, мы просим покорно

К нам не ходить и дома сидеть да высиживать

скуку.

Было прекрасное майское утро. Квакун
двадесятый,
Царь знаменитой породы, властитель
ближней трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окружённый
блестящей
Свитой придворных. Вприпрыжку они
взобрались на пригорок,
Сочной травою покрытый, и там, на кочке
усевшись,
Царь приказал из толпы его окружавших
почётных
Стражей вызвать бойцов, чтоб его, царя,
забавляли
Боем кулачным. Вышли бойцы; началося;
уж много
Было лягушечьих морд царю в угожденье

разбито;

Царь хохотал; от смеха придворная квакала

свита

Вслед за его величеством; солнце взошло уж

на полдень.

Вдруг из кустов молодец в прекрасной

беленькой шубке,

С тоненьким хвостиком, острым, как стрелка,

на тоненьких ножках

Выскочил; следом за ним четыре таких же,

но в шубках

Дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту.

Белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши

Правую ножку, начал воду тянуть, и казалось.

Был для него тот напиток приятнее мёда; головку

Часто он вверх подымал, и вода с усастого

рыльца

Мелким бисером падала; вдоволь напившись

и лапкой

Рыльце обтёрши, сказал он: «Какое раздолье

студёной

Выпить воды, утомившись от зноя!

Теперь понимаю

То, что чувствовал Дарий, когда он, в бегстве

из мутной

Лужи напившись, сказал: я не знаю вкуснее

напитка!»

Эти слова одна из лягушек подслушала; тотчас

Скачет она с донесеньем к царю:

из леса-де вышли

Пять каких-то зверьков, с усами турецкими, уши

Длинные, хвостики острые, лапки как руки;

в осоку

Все они побежали и царскую воду в болоте

Пьют. А кто и откуда они, неизвестно. С десятком

Стражей Квакун посылает хорунжего Пышку

проведать,

Кто незваные гости; когда неприятели – взять их,

Если дадутся; когда же соседи,

пришедшие с миром,—

Дружески их пригласить к царю на беседу.

Сошедши

Пышка с холма и увидя гостей, в минуту узнал их:

«Это мыши, неважное дело! Но мне не случалось

Белых меж ними видать, и это мне чудно.

Смотрите ж, —

Спутникам тут он сказал, – никого не обидеть.

Я с ними

Сам на словах объяснюся. Увидим, что скажет

мне белый».

Белый меж тем с удивленьем великим смотрел,

приподнявши

Уши, на скачущих прямо к нему с пригорка

лягушек;

Слуги его хотели бежать, но он удержал их.

Выступил бодро вперёд и ждал скакунов;

и как скоро

Пышка с своими к болоту приблизился:

«Здравствуй, почтенный

Воин, – сказал он ему, – прошу не взыскать,

что без спросу

Вашей воды напился я; мы все от охоты устали;

В это же время здесь никого не нашлось;

благодарны

Очень мы вам за прекрасный напиток;

и сами готовы

Равным добром за ваше добро заплатить;

благодарность

Есть добродетель возвышенных душ».

Удивлённый такою

Умною речью, ответствовал Пышка:

«Милости просим

К нам, благородные гости; наш царь,

о прибытии вашем

Сведав, весьма любопытен узнать:

откуда вы родом,

Кто вы и как вас зовут. Я послан сюда

пригласить вас

С ним на беседу. Рады мы очень,

что вам показалась

Наша по вкусу вода, а платы не требуем: воду

Создал господь для всех на потребу,

как воздух и солнце».

Белая шубка учтиво ответствовал: «Царская воля

Будет исполнена; рад я к его величеству с вами

Вместе пойти, но только сухим путём, не водою;

Плавать я не умею; я царский сын и наследник

Царства мышиного». В это мгновенье,

спустившись с пригорка,

Царь Квакун со свитой своей приближался.

Царевич

Белая шубка, увидя царя с такою толпою

Несколько струсил, ибо не ведал, доброе ль,

злое ль

Было у них на уме. Квакун отличался

зелёным

Платьем, глаза навыкат сверкали, как звёзды,

и пузом

Громко он, прядая, шлёпал. Царевич Белая

шубка,

Вспомнивши, кто он, робость свою победил.

Величаво

Он поклонился царю Квакуну. А царь,

благосклонно

Лапку подавши ему, сказал: «Любезному гостю

Очень мы рады; садись, отдохни;

ты из дальнего, верно,

Края, ибо до сих пор тебя нам видать

не случалось».

Белая шубка, царю поклоняся опять, на зелёной

Травке уселся с ним рядом, а царь продолжал:

«Расскажи нам,

Кто ты, кто твой отец, кто мать, и откуда пришёл

к нам?

Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда,

не таясь,

Правду всю скажешь. Я царь и много имею

богатства —

Будет нам сладко почтить дорогого гостя

дарами».

«Нет никакой мне причины, – ответствовал

Белая шубка, —

Царь-государь, утаивать истину. Сам я породы

Царской, весьма на земле знаменитой;

отец мой из дома

Древних воинственных Бубликов,

царь Долгохвост Иринарий

Третий, владеет пятью чердаками,

наследием славных

Предков, но область свою он сам расширил
войнами:
Три подполья, один амбар и две трети ветчинни
Он покорил, победивши соседних царей,
а в супруги
Взявши царевну Прасковью-Пискунью
белую шкурку,
Целый овин получил он за нею в приданое.
В свете
Нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста,
Пётр Долгохвост, по прозванию Хват.
Был я воспитан
В нашем столичном подполье
премудрым Онуфрием-крысой.
Мастер я рыться в муке, таскать орехи,
вскребаюсь
В сыр и множество книг уже изгрыз,
любя просвещенье.

Хватом же прозван я вот за какое смелое дело:

Раз случилось, что множество нас,

молодых мышенят ок,

Бегало по полю взапуски; я как шальной,

раззадорясь,

Вспрыгнул с разбегу на льва,

отдыхавшего в поле, и в пышной

Гриве запутался; лев проснулся и лапой огромной

Стиснул меня; я подумал, что буду раздавлен

как мошка.

С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы.

«Лев-государь, – ему я сказал, —

мне и в мысль не входило

Милость твою оскорбить; пощади, не губи;

не ровен час,

Сам я тебе пригожуся». Лев улыбнулся (конечно,

Он уж покушать успел) и сказал мне:
«Ты, вижу, забавник.
Льву услужить ты задумал. Добро,
мы посмотрим, какую
Милость окажешь ты нам? Ступай».
Тогда он раздвинул
Лапу, а я давай бог ноги. Но вот что случилось:
Дня не прошло, как все мы испуганы были
в подпольях
Наших львиным рыканьем: смутилась,
как будто от бури,
Вся сторона. Я не струсил, выбежал в поле
и что же
В поле увидел? Царь Лев, запутавшись
в крепких тенётах,
Мечется, бьётся как бешеный, кровью глаза
налилися,
Лапами рвёт он верёвки, зубами грызёт их,

и было

Всё то напрасно – лишь боле себя он

запутывал. «Видишь,

Лев-государь, – сказал я ему, —

что и я пригодился.

Будь спокоен: в минуту тебя мы избавим».

И тотчас

Созвал я дюжину ловких мышат: принялись мы

работать

Зубом, узлы перегрызли тенёт, и Лев распутлялся.

Важно кивнув головою косматой и нас

допустивши

К царской лапе своей, он гриву расправил,

ударил

Сильным хвостом по бёдрам и в три прыжка

очутился

В ближнем лесу, где вмиг и пропал.

По этому делу

Прозван я Хватом, и славу свою поддержать я

стараюсь;

Страшного нет для меня ничего; я знаю,

что смелым

Бог владеет. Но должно, однако, признаться,

что всюду

Здесь мы встречаем опасность. Так бог уж

землю устроил —

Всё здесь воюет: с травою Овца,

с Овцою голодный

Волк, Собака с Волком, с Собакой Медведь,

а с Медведем

Лев. Человек же и Льва, и Медведя,

и всех побеждает.

Так и у нас, отважных Мышей,

есть много опасных,

Сильных гонителей: Совы, Ласточки, Кошки,

а всех их

Злее козни людские. И тяжко подчас нам

приходит.

Я, однако, спокоен; я помню, что мне

мой наставник

Мудрый, крыса Онуфрий, твердил:

беды нас смиренью

Учат. С верой такою ничто не беда. Я доволен

Тем, что имею, счастию рад, а в несчастье

не хмурюсь».

Царь Квакун со вниманием слушал

Петра Долгохвоста.

«Гость дорогой, – сказал он ему, —

признаюсь откровенно;

Столь разумные речи меня в изумленье приводят.

Мудрость такая в такие цветущие лета!

Мне сладко

Слушать тебя: и приятность и польза!

Теперь опиши мне

То, что случалось, когда с мышиным вашим

народом,

Что от врагов вы терпели и с кем когда воевали».

«Должен я прежде о том рассказать,

какие нам козни

Строит наш хитрый двуногий злодей, Человек.

Он ужасно

Жаден; он хочет всю землю заграбить один

и с Мышами

В вечной вражде. Не исчислить

всех выдумок хитрых, какими

Наше он племя избыть замышляет.

Вот, например, он

Домик затеял построить: два входа, широкий

и узкий;

Узкий заделан решёткой, широкий с подъёмною

дверью.

Домик он этот поставил у самого вхо-

да

в подполье.

Нам же сдуру на мысли взбрело, что, поладить

С нами желая, для нас учредил он го-

стиницу.

Жирный

Кус ветчины там висел и манил нас;

вот целый десяток

Смелых охотников вызвали в домик забраться,

без платы

В нём отобедать и верные вести при-

несть нам.

Входят они, но только что начали дружно

висячий

Кус ветчины тормошить, как подъём-

ная дверь

с превеликим

Стуком упала и всех их захлопнула. Тут

поразило

Страшное зрелище нас: увидели мы, как злодеи

Наших героев таскали за хвост и в воду бросали.

Все они пали жертвой любви к ветчине

и к отчизне.

Было нечто и хуже. Двуногий злодей наготовил

Множество вкусных для нас пирожков

и расклал их.

Словно как добрый, по всем закоулкам;

народ наш

Очень доверчив и ветрен, мы лакомки —

бросилась жадно

Вся молодёжь на добычу. Но что же случилось?

Об этом

Вспомнить – мороз продирает по коже!

Открылся в подполье

Мор: отравой злодей угостил нас.

Как будто шальные

С пиру пришли удальцы: глаза навыкат, разинув

Рты, умирая от жажды, взад и вперёд

по подполью

Бегали с писком они, родных, друзей и знакомых

Боле не зная в лицо; наконец, утомясь,

обессилев,

Все попадали мёртвые лапками вверх; запустела

Целая область от этой беды; от ужасного смрада

Трупов ушли мы в другое подполье,

и край наш родимый

Надолго был обезмышен. Но главное бедствие

наше

Ныне в том, что губитель двуногий крепко

сдружился,

Нам ко вреду, с сибирским котом,

Федотом Мурлыкой.

Кошачий род давно враждует с мышиным.

Но этот

Хитрый котище Федот Мурлыка для нас

наказанье

Божие. Вот как я с ним познакомился.

Глупым мышонком

Был я ещё и не знал ничего. И мне захотелось

Высунуть нос из подполья. Но мать-царица

Прасковья

С крысой Онуфрием крепко-накрепко мне

запретили

Норку мою покидать, но я не послушался,

в щёлку

Выглянул: вижу камнем выстланный двор;

освещало

Солнце его, и окна огромного дома све-

тились;

Птицы летали и пели. Глаза у меня разбежались.

Выйти не смея, смотрю я из щёлки и вижу:

на дальнем

Крае дороги зверок усастый, сизая шкурка.

Розовый нос, зелёные глазки, пушистые уши.

Тихо сидит и за птичками смотрит, а хвостик,

как змейка,

Так и виляет. Потом он своею бархатной лапкой

Начал усастое рыльце себе умывать. Облилося

Радостью сердце моё, и я уж сбирался покинуть

Щёлку, чтоб с милым зверьком познакомиться.

Вдруг зашумело

Что-то вблизи; оглянувшись, так я и обмер.

Какой-то

Страшный урод ко мне подходил; широко шагая,

Чёрные ноги свои подымал он, и когти кривые

С острыми шпорами были на них;

на уродливой шее

Длинные косы висели змеями; нос крючковатый;

Под носом трясся какой-то мохнатый мешок,

и как будто

Красный с зубчатой верхушкой колпак, с головы

перегнувшись,

По носу бился, а сзади какие-то длинные крючья

Разного цвета торчали снопом.

Не успел я от страха

В память прийти, как с обоих боков поднялись

у урода

Словно как парусы, начали хлопать,

и он,

раздвоивши

Острый нос свой, так заорал, что меня

как дубиной

Треснуло. Как прибежал я назад в под-
полье,

не помню.

Крыса Онуфрий, услышав о том, что
случилось

со мною,

Так и ахнул. «Тебя помиловал бог, —

он сказал мне, —

Свечку ты должен поставить уроду,
который так

кстати

Криком своим тебя испугал; ведь это
наш добрый

Сторож петух; он горлан и с своими
большой

забияка;

Нам же, мышам, он приносит и пользу:

когда закричит он,

Знаем мы все, что проснулися наши

враги;

а приятель,

Так обольстивший тебя своей лицемерною харей,

Был не иной кто, как наш злодей записной,

объедало

Кот Мурлыка; хорош бы ты был, когда бы

с знакомством

К этому плуту подъехал: тебя б он порядком

погладил

Бархатной лапкой своею; будь же вперёд

осторожен».

Долго рассказывать мне об этом проклятом

Мурлыке;

Каждый день от него у нас недочёт. Расскажу я

Только то, что случилось недавно.

Разнёсся в подполье

Слух, что Мурлыку повесили. Наши лазутчики

сами

Видели это глазами своими. Вскружилось

подполье:

Шум, беготня, пискотня, скаканье, кувырканье,

пляска, —

Словом, мы все одурели, и сам мой Онуфрий

премудрый

С радости так напился, что подрался с царицей

и в драке

Хвост у неё откусил, за что был и высечен

больно.

Что же случилось потом? Не разведавши дела

порядком,

Вздумали мы кота погребать, и надгробное слово

Тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный
Клим по прозванию Бешеный Хвост;
такое прозванье
Дали ему за то, что, стихи читая, всегда он
В меру вилял хвостом, и хвост, как маятник,
стукал.
Всё изготовив, отправились мы на поминки
к Мурлыке;
Вылезло множество нас из подполья;
глядим мы, и вправду
Кот Мурлыка в ветчинне висит на бревне,
и повешен
За ноги, мордою вниз; оскалены зубы; как палка,
Вытянут весь; и спина, и хвост, и передние лапы
Словно как мёрзлые; оба глаза глядят не моргая.

Все запищали мы хором: «Повешен Мурлыка,

повешен

Кот окаянный; довольно ты, кот, погулял;

погуляем

Нынче и мы». И шесть смельчаков тотчас

взобралися

Вверх по бревну, чтоб Мурлыкины лапы

распутать, но лапы

Сами держались, когтями вцепившись в бревно,

а верёвки

Не было там никакой, и лишь только

к ним прикоснулись

Наши ребята, как вдруг распустилися когти,

и на пол

Хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам

разбежались

В страхе и смотрим, что будет. Мур-

лыка лежит

и не дышит,

Ус не тронется, глаз не моргнёт – мертвец,

да и только.

Вот, ободрясь, из углов мы к нему подступать

понемногу

Начали: кто посмелее, тот дернёт за хвост,

да и тягу

Даст от него, тот лапкой ему погрозит,

тот подразнит

Сзади его языком, а кто ещё посмелее,

Тот, подкравшись, хвостом в носу у него

пощекочет.

Кот ни с места, как пень. «Берегитесь, —

тогда нам сказала

Старая мышь Степанида, которой Мурлыкины

когти

Были знакомы (у ней он весь зад ободрал,

и насилу

Как-то она от него уплела), – берегитесь:

Мурлыка

Старый мошенник; ведь он висел без верёвки,

а это

Знак недобрый; и шкурка цела у него».

То услыша,

Громко мы все засмеялись. «Смейтесь,

чтоб после не плакать, —

Мышь Степанида сказала опять, —

а я не товарищ

Вам». И поспешно, созвав мышеняток своих,

убралася

С ними в подполье она. А мы принялись

как шальные

Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконец,

поуставши,

Все мы уселись в кружок перед мордой его,

и поэт наш

Клим, по прозванию Бешеный Хвост,

на Мурлыкино пузо

Взлезши, начал оттуда читать нам

надгробное слово.

Мы же при каждом стихе хохотали.

И вот что прочёл он:

«Жил Мурлыка; был Мурлыка кот сибирский,

Рост богатырский, сизая шкурка, усы, как у турка;

Был он бешен, на краже помешан,

за то и повешен,

Радуйся, наше подполье!..» Но только успел

проповедник

Это слово промолвить, как вдруг наш покойник

очнулся.

Мы бежать... Куда ты! Пошла ужасная

травля.

Двадцать из нас осталось лежать на месте;

а раненых втрое

Более было. Тот воротился с ободранным пузом.

Тот без уха, другой с отъеденной мордой, иному

Хвост был оторван, у многих так страшно

искусаны были

Спины, что шкурки мотались, как тряпки,

царицу Прасковью

Чуть успели в нору уволочь за задние лапки,

Царь Иринарий спасся с рубцом на носу,

но премудрый

Крыса Онуфрий с Климом-поэтом достались

Мурлыке

Прежде других на обед. Так кончился пир наш

бедою».

. . . . . .

Антоний Алексеевич Погорельский
(1787–1836)

Чёрная курица, или Подземные жители

Лет сорок тому назад в С.-Петербурге на Васильевском острове, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который ещё и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко ещё не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было весёлых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою; Адмиралтейство не было обсажено деревьями; манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом

— одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее… Впрочем, не о том теперь идёт дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, — теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском острове, в Первой линии.

Дом, которого теперь — как уже вам сказывал — вы не найдёте, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу… Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жильё, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которой каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали…

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик,

по имени Алёша, которому тогда было не более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперёд. Алёша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучён с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме.

Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алёша горько чувствовал своё одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на

волшебные повести, и библиотека, которою пользовался наш Алёша, большею частию состояла из книг сего рода.

Итак, Алёша, будучи ещё в девятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимым его занятием в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века… Особливо в вакантное время, когда он бывал разлучён надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по тёмным, дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно просторный двор, отделённый от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и при-

стально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти.

Между курами он особенно любил одну чёрную хохлатую, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и потому Алёша лучшие

кусочки приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время зимних вакаций — день был прекрасный и необыкновенно тёплый, не более трёх или четырёх градусов мороза) Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ и ещё накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал своё искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на её голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещённые два бриллиантовых перстня, когда-то подаренные

её мужу родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась причёска; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания свои кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого причёска не так была высока.

В продолжение всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкновению своему, он подошёл сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчливая. Но с тех пор, как он заметил, что она-то и была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он ещё менее стал её любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом,

то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев её теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

— Алёша, Алёша! Помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка.

Но Алёша принялся бежать ещё пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слёзки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нём сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып, цып!» — то бранила их.

Вдруг сердце у Алёши ещё сильнее забилось: ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Кудáх, кудáх, кудýху!
Алёша, спаси Чернуху!
Кудýху, кудýху,
Чернуху, Чернуху!

Алёша никак не мог долее оставаться на своём месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке

и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка! — вскричал он, обливаясь слезами, — пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алёша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать.

Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Кудáх, кудáх, кудýху!
Не поймала ты Чернуху!
Кудýху, кудýху,
Чернуху, Чернуху!

Между тем кухарка вне себя была от досады и хотела бежать к учителю, но Алёша не допустил её. Он прицепился к полам её платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка! — говорил он, — ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая… Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

Алёша вынул из кармана империал, составлявший всё его имение, который берёг он пуще глаза

своего, потому что это был подарок доброй его бабушки… Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке — и с твёрдостью отдал драгоценный подарок.

Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом. Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он её избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала весёлым голосом. Всё утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать её кудахтанья. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шёлковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперёд по обе стороны груди.

Так наряжали тогда детей. Потом научили,

каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдёт в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы.

В другое время Алёша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нём учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей: о чёрной курице. Ему всё представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику… Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.

Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтобы встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алёша

на минуту забыл о своей курочке и подошёл к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алёша очень этому удивился! «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но, когда она, окончив длинное приветствие своё, присела ниже обыкновенного, Алёша, к крайнему удивлению, из-за неё увидел… не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алёша, был маленький пучок! Когда вошёл он в гостиную, Алёша ещё более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алёше, сколь в другое время он бы ни был обрадо-

ван необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке всё бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошёл к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

— Подите, — отвечал учитель, — только не долго там будьте: уж скоро сделается темно.

Алёша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зелёную бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесённым крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоту ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алёша долго с нею играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперёд, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему пока-

залось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звёздочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алёша, Алёша! Останься со мною!

Алёша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости. Прежде, нежели они разъехались, Алёша пошёл в нижний этаж, в спальню, разделся, лёг в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкой, как, к сожалению, пробуждён был шумом разъезжающихся гостей.

Немного погодя учитель, провожавший директора со свечкою, вошёл к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алёша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы.

Наконец всё утихло… Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещённую месячным сиянием, и заметил, что белая просты-

ня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться… ему послышалось, что будто что-то под кроватью царапается, — и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовёт его:

— Алёша, Алёша!

Алёша испугался… Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нём дрожало.

Он немного приподнялся в постели и ещё яснее увидел, что простыня шевелится… ещё внятнее услышал, что кто-то говорит:

— Алёша, Алёша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под неё вышла… чёрная курица!

— Ах! это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алёша. — Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алёша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я тебя буду бояться? — отвечал он. — Я тебя люблю; только для меня странно, что ты

так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься, — продолжала курица, — так поди за мною. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал Алёша. — Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу; я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь, — сказала курочка.

Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как с Алёшин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днём. Алёша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алёша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

— Иди за мною! — сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз её выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю…

— Дверь заперта ключом, — сказал Алёша.

Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась… Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки голландки. Алёша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось всё это видеть, потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в покои старушек отворилась.

Алёша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синей муравой люди и звери. Алёша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебель, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила.

Они вошли во вторую комнату — и тут-то Алёша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алёша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего, — сказала она. — Бе-

регись разбудить старушек!

Тут только Алёша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами: она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле неё сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо неё, Алёша не мог утерпеть, чтоб не попросить у ней лапки… Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алёша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась… и ещё долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

— Как тебе не стыдно! — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. — Ты, верно, разбудил рыцарей…

— Каких рыцарей? — спросил Алёша.

— Ты увидишь, — отвечала курочка. — Не бойся, однако ж, ничего; иди за мною смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам

и коридорам, которых прежде Алёша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алёша принуждён был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещённую тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках.

Чернушка шла вперёд на цыпочках и Алёше велела следовать за собою тихонько-тихонько.

В конце залы была большая дверь из светлой жёлтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на чёрную курицу.

Чернушка подняла хохол, распустила крылья… вдруг сделалась большая, большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться!

Рыцари сильно на неё наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алёше сделалось страшно, сердце в нём сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришёл он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату и он лежал в своей постели: не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алёша долго не мог опомниться. Он не понимал,

что с ним было ночью: во сне ли всё то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошёл наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шёл сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что чёрная курица непонятно куда спряталась.

— Впрочем, — прибавила она, — беда невелика, если бы она и пропала: она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алёша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб её нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алёша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен её увидеть в следующую ночь, несмотря на то что она пропала из курятника. Но потом ему казалось,

что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алёша с нетерпением разделся и лёг в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещённую тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алёша, Алёша!» — и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах! здравствуй, Чернушка! — вскричал он вне себя от радости. — Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

— Здорова, — отвечала курочка, — но чуть было не занемогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка? — спросил Алёша, испугавшись.

— Ты добрый мальчик, — продолжала курочка, — но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтобы ты ничего не трогал в комнатах старушек, — несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!

— Виноват, любезная Чернушка, вперёд не бу-

ду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо, — сказала курочка, — увидим!

Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алёша опять оделся и пошёл за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался.

Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алёшу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На убранном столе перед зеркалом Алёша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою; но он помнил приказание Чернушки и прошёл не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, всё кивая головою. Чуть-чуть он не остановился — такими они показались ему забавными; но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опом-

нился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алёша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещённую тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять — когда приблизились они к двери из жёлтой меди — два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья…

Чернушка сделалась большая и нахохлилась. Но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алёша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее.

Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алёша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.

Тут Чернушка оставила Алёшу.

— Побудь здесь немного, — сказала она ему, — я

скоро приду назад. Сегодня был ты умён, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы. — После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алёша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зелёным балдахином, на возвышенном месте стояли кресла из золота. Алёша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что всё было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских.

Они не замечали Алёши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили.

Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы… Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.

В одно мгновение комната сделалась ещё светлее, все маленькие свечки ещё ярче загорели, и Алёша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошёл в залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим драгоценными камнями. На нём была светло-зелёная мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях.

Алёша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя

к Алёше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алёша повиновался.

— Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донёс мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

— Когда? — спросил Алёша с удивлением.

— Третьего дня на дворе, — отвечал король. — Вот тот, который обязан тебе жизнью.

Алёша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в чёрное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алёшу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь до Алёши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! Я не могу принять на свой

счёт того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не министра вашего, а чёрную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца…

— Что ты говоришь? — прервал его с гневом король. — Мой министр — не курица, а заслуженный чиновник!

Тут подошёл министр ближе, и Алёша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

— Скажи мне, чего ты желаешь? — продолжал король. — Если я в силах, то непременно исполню твоё требование.

— Говори смело, Алёша! — шепнул ему на ухо министр.

Алёша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.

— Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.

— Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал

король, покачав головою. — Но делать нечего: я должен исполнить своё обещание.

Он махнул рукою, и паж поднёс золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

— Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алёша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алёшу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алёшу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алё-

ша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повёл он его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.

— Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это всё брильянты, яхонты, и изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алёша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценными, как здесь, — отвечал министр.

Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зелёные, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королём за большие деньги из дальних стран из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на

золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашёл накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай что угодно, — сказал министр, — с собою же брать ничего не позволяется.

Алёша в тот день хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту, — сказал он.

— Очень хорошо, — отвечал министр. — Я думаю, что лошади уже осёдланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь; Алёше подвели палку гораздо более других.

— Берегись, — сказал министр, — чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смирных.

Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увёртываться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою…

Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвести в зверинец.

По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались… при всём том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу,

из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился.

Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесённые им стулья.

— Скажи, пожалуйста, — начал Алёша, — зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их лёгкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? — продолжал Алёша.

— Неужели ты никогда не слыхал, что под землёю живёт народ наш? — отвечал министр. — Правда, не многим удаётся нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого

в тайне, то мы принуждены будем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край…

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить, — прервал его Алёша. — Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землёю. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так, что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда, — отвечал министр.

— Но, — сказал ему Алёша, — объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром,

являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале её рассказа глаза Алёшины закрылись и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать… Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — всё это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привёл в порядок всё, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашёл в кармане бумажку, в которой завёрнуто было конопляное семечко. «Увидим, — подумал он, — сдержит ли слово своё король! Завтра начнутся классы, а я ещё не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из всемирной истории, а он не знал ещё ни одного слова!

Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались уроки. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона.

У Алёши сильно билось сердце… Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зёрнышком… Наконец его вызвали. С трепетом подошёл он к учителю, открыл рот, сам ещё не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алёша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алёшею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так, что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алёша внутренне стыдился этих похвал: ему совестно было, что ставили его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то что Алёша, особливо в первые недели после получения конопляного зёрнышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы её не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успоко-

ился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях разнёсся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алёшею. Учитель носил его на руках, ибо чрез него пансион вошёл в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут учёные, как Алёша.

Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо просторнее того, в котором они жили.

Алёша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алёшин

от этого совсем испортился, из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордым и непослушным. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алёша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учёности, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастью, самолюбие так в нём было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алёша сделался страшным шалуном. Не имея нужды твердить уроки, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность ещё более портила его нрав.

Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьёзно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое большие, нежели другим; но и это нисколько не

помогало. Алёша вовсе не учился, а всё-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он по крайней мере в этот день будет смирнее.

Куда! Наш Алёша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алёша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алёше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алёшу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошёл к нему. Алёша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот… и не мог выговорить ни слова!

— Что ж вы молчите? — сказал ему учитель. — Говорите урок.

Алёша покраснел, потом побледнел, опять

покраснел, начал мять свои руки, слёзы у него от страха навернулись на глазах… всё тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алёша? — закричал учитель. — Почему вы не хотите говорить?

Алёша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтобы нащупать семечко… Но как описать его отчаяние, когда он его не нашёл! Слёзы градом полились из глаз его… он горько плакал и всё-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алёша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Подите в спальню, — сказал он, — и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алёшу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зёрнышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню

— всё напрасно! Нигде не было и следов любезного зёрнышка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя во дворе.

Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти во двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю и зёрнышко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка, — говорил он, — любезный министр! пожалуйста, явись мне и дай другое зёрнышко! Я, право, вперёд буду осторожнее…

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошёл учитель.

— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алёши.

Алёша, громко всхлипывая, принуждён был сказать, что не знает.

— Ну, так оставайтесь здесь, пока выучите! — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

Алёша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но, когда настал вечер, он знал не более двух или трёх страниц, да и то плохо.

Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришёл опять учитель.

— Алёша! знаете ли вы урок? — спросил он.

И бедный Алёша сквозь слёзы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так, видно, и завтра придётся вам просидеть здесь на хлебе и на воде, — сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алёша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нём жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова.

Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился не отвечая. Алёша обратился к другому, но и тот говорить с

ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алёша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лёг он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила», — подумал Алёша, и слёзы вновь полились у него из глаз.

Вдруг… простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась чёрная курица.

Сердце в нём стало биться сильнее… он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса.

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела чёрная курица.

— Ах, Чернушка! — сказал Алёша вне себя от радости, — я не смел надеяться, что с тобой увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет, — отвечала она, — я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алёша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того,

которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь… я не узнаю тебя!

Алёша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алёша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранить в тайне всё, что тебе о нас известно… Алёша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь ещё худшего — неблагодарности!

Алёша с восхищением взял любезное своё семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться.

— Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду.

— Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щёлочку, и потому если

хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

Алёша, оставшись один, начал рассматривать своё зёрнышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчёт урока, и вчерашнее горе не оставило в нём никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмёт верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он. — Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут…»

Увы! бедный Алёша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алёшу позвали наверх. Он вошёл с весёлым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю, — отвечал Алёша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления, а Алёша гордо посматривал на своих товарищей.

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алёшин.

— Вы знаете урок свой, — сказал он ему, — это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его, — отвечал Алёша.

— Быть не может! — прервал его учитель. — Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алёша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорчённые его надменностью, закричали в один голос:

— Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алёша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же! — продолжал учитель. — Когда выучили вы урок?

Но Алёша не прерывал молчания: он так поражён был этим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел отвечать урока из упрямства, счёл за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, — сказал он Алёше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того дан вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказание за вчерашнее упрямство, а сегодня вы ещё увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! — продолжал учитель, обратясь к пансионерам, — запрещаю всем вам говорить с Алёшею до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги… Алёша был в отчаянии! В первый ещё раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алёшу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещал совершенно исправиться.

— Надо было думать об этом прежде, — был

ему ответ.

Слёзы и раскаяние Алёши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алёша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, ещё горше стал плакать.

Наконец учитель сжалился.

— Хорошо! — сказал он. — Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.

Алёша совершенно потерял голову… он забыл обещание, данное подземному королю и его министру, и начал рассказывать о чёрной курице, о рыцарях, о маленьких людях…

Учитель не дал ему договорить…

— Как! — вскричал он с гневом. — Вместо того чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня ещё вздумали дурачить, рассказывая сказку о чёрной курице… Этого слишком уже много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алёшу высекли!

С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алёша пошёл в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый… Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда чрез несколько

часов он немного успокоился и положил руку в карман… конопляного зёрнышка в нём не было! Алёша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно!

Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он тоже лёг в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своём! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зёрнышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати… Алёша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза: он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что ещё вчера так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, — и вместо того… Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни… Кто-то подошёл к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

— Алёша, Алёша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слёзы из них катились и текли по его щекам…

Вдруг кто-то дёрнул за одеяло. Алёша невольно взглянул: перед ним стояла Чернушка — не в виде

курицы, а в чёрном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел её в подземной зале.

— Алёша! — сказал министр, — я вижу, что ты не спишь… Прощай! Я пришёл с тобою проститься, более мы не увидимся!

Алёша горько зарыдал.

— Прощай! — воскликнул он. — Прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан!

— Алёша! — сказал сквозь слёзы министр, — я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Ещё в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слёзы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!..

Алёша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух…

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алёша

увидел, что они были скованы золотою цепью… Он ужаснулся!..

— Твоя нескромность причиною, что я осуждён носить эти цепи, — сказал министр с глубоким вздохом, — но не плачь, Алёша! Твои слёзы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моём несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнею кроватью.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колёс и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алёша! Прощай навеки!..

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алёшу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная

горячка.

Недель через шесть Алёша выздоровел, и всё происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжёлым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о чёрной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алёша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

Орест Михайлович Сомов (1793–1833)

Оборотень
Народная сказка

«Это что за название?» — скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!). И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: что ж делать! виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за другими, делали набеги на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение моё так наполнено всеми этими живыми и мёртвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щёлканье зубов Вампира или вижу, как «от могильного белка адского глаза Ренегатова отделяется кровавый зрачок…». Напуганный сими ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал было попугать вас, милостивые государи! Но как мне в удел не даны ни мрачное воображение лорда Байрона, ни живая кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо г.

д’Арленкура и ему подобных и сама моя муза так своевольна, что часто смеётся сквозь слёзы и дрожа от страха; то я, повинуясь свойственной полу её причудливости, пущу слепо моё воображение, куда она его поведёт. Скажу только в оправдание моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то *новым, небывалым;* а русские оборотни, сколько помню, до сих пор ещё не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим разбойником; но всё другое новое, как я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников — не всегда клеймёных (по крайней мере клеймом гения), но всегда печатных, — что если б мыши и моль не составили против них своей Santa Hermandat[1], то от них не было б житья порядочным людям.

Я думал написать это вступление в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей, но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании; я признаюсь, мне не

---

[1] Примечания: 1

Sanfa Hermandat, слово в слово: святое братство. Так назывались в Испании сыскные команды инквизиции. (*Здесь и далее по текстам примеч. автора.*)

хотелось бы прослыть подражателем… Своё, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить своё! Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу напоказ небывалого русского *оборотня.*

В одном селении… Вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии и в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего.

Итак, дослушайте ж…

В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается росою, собирает разные травы, ходя, беспрестанно что-то шепчет себе в длинные, седые усы, спит с открытыми глазами и пр. и пр. Чего же больше? он колдун, и злой колдун: так о нём толковало всё селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого дремучего леса, а изба Ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай сроду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомимся, взял он к себе приёмыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде бобылём Артюшей; а теперь, из уважения ли к колдуну или по росту и дородству самого детины,

стали величать Артёмом Ермолаевичем: подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нём не заботился.

Артём был видный детина: высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудрено ли было колдуну вскормить и выхолить своего приёмыша? Крестьяне были той веры, что колдун отпоил Артёма молоком летучих мышей, что по ночам кикиморы чесали ему буйную голову, а нашёптанный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться: каким образом старый Ермолай, так сказать, переродя Артёма из тощего, бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? Ибо Артюша был прост, очень прост: молвит, бывало, что с дуба сорвёт, до сотни не сочтёт без ошибки и не всегда, бывало, впопад ответит, когда у него спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его исподтишка и шёпотом говаривали про него: «Красен, как маков цвет, а глуп, как горелый пень». В се-

лении прозвали его *вислогубым красиком,* и всё это не вслух, а тайком от колдуна, потому что все боялись обидеть его в лице его приёмыша.

И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик догадывается о насмешках поселян над его наречённым сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот: у того из поселян не явится пара овец, у другого трёх или четырёх коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видали, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину — и был таков: мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай — он и ухом не ведёт; сколько ни трави собаками: они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень; вслед же за этою догадкой пришла к ним и другая: что этот оборотень не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич.

Делать было нечего. Все боялись колдуна, хотя, сказать правду, до сих пор он не делал ещё никакого зла селению; но всё-таки он был колдун. Жаловаться на него — у кого найдёшь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть его? Самим его доконать — грешно, хоть он и колдун;

притом же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет? Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, а всё дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать, закуся губы, да молиться святым угодникам за себя и за стада свои.

В селении том жила красная девушка, Акулина Тимофеевна. Лицо у неё было, что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные — словом, она уродилась со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Артюшей, а напротив того, ещё заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар, что жить ему на свете оставалось недолго и что после него единственным наследником его имения должен быть Артём Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на

Артёма, так ласково говорила ему, встречаясь: «Здравствуй, добрый молодец!» — что Артём, как ни был прост, а всё заметил её приветливость. Часто он, избочаясь и выступая гоголем, подходил к ней и заводил с нею речи — грех сказать: умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче: Акулина Тимофеевна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артюши: он ещё чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая: «Здорово, Акуля», отвешивал ей дружеский удар тяжёлою своею ладонью по белому круглому плечу и таял пред нею… Да, таял, в полном смысле слова, потому что щёки его делались ещё краснее, глаза ещё мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходились между собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее, как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться: то есть, с помощью обручального кольца да честного венца, прибрать к рукам и Артёма и будущие его пожитки.

К ней-то, наконец, смышлёные крестьяне обратились с просьбою помочь их горю. «Ты-де, Акулина Тимофеевна, в селе у нас умный человек; а нам вестимо, что благоприятель твой Артём

Ермолаевич с неба звёзд не хватает, хоть и слывёт сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Порадей нам, а мы тебе за то чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим; как бы досконально проведать, подлинной ли то волк душит наших овец или это — не в нашу меру будь сказано — Ермолай Парфентьевич оборотнем над нами потешается?» Акулина Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой: с одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную; с другой стороны, манили её подарки… а кто к подаркам не лаком? Спросите у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого (не хочу называть всех поимённо): всякий если не словами, так взглядом припомнит нам старую пословицу: *кто богу не грешен, царю не виноват!* И Акулина Тимофеевна была в этом смысле ежели не закоснелою грешницей, то, по крайней мере, не совсем чиста совестью. Она подумала-подумала — и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле.

На другой день, встретясь с Артёмом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артём: щёки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно

потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему:

— Артюша, светик мой! молвила бы я тебе словцо, да боюсь: старик твой нас подметит. Где он теперь?

— А кто его весть! Бродит себе по лесу, словно леший, да, тово-вона, чай, дерёт лыка на зиму.

— Скажи, пожалуйста: ты ничего за ним не примечаешь?

— Вот те бог, ничего.

— А люди и невесть что трубят про него: что будто бы он колдун, что бегает оборотнем по лесу да изводит овец в околотке.

— Полно, моя ненаглядная: инда мне жутко от твоих речей.

— Послушай меня, сокол мой ясный: ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним да скажешь мне после, правда ли, нет ли вся эта молва, которая идёт о нём по селу. Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется.

— Не убудет меня? да что же мне прибудет?

— А то, что я ещё больше стану любить тебя, выйду за тебя замуж и тогда заживём припеваючи.

— Ой ли? да что же мне делать-то?

— А вот что: не поспи ты ночь да примечай, что

старый твой станет кудесить. Куда он, туда и ты за ним; притаись где-нибудь в углу или за кустом и всё высматривай. После расскажешь мне, что увидишь.

— Ахти! страшно! Да ещё и ночью. А когда же спать-то буду?

— Выспишься после. Зато уж как женою твоею буду, ты, мой голубчик, будешь спать вволю. Тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать: всё я за тебя; а ты себе, пожалуй, поваливайся на печи да покушивай готовое.

— Ладно! будь по-твоему: стану приглядывать за моим стариком. Да скажи, он мне бока-то не отлощит?

— Не бойся ничего: он не узнает; а какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научала.

— Ну, то-то, смотри же! чур, не выдавать меня.

— И, статимо ли дело! прощай же, дружочек.

— Ин прощай, моя любушка!

При всей своей простоте Артём не вовсе был трус: он уважал и боялся названого своего отца, а впрочем, по слабоумию ли, по врождённой ли отваге, не мог себе составить понятия о страхах сверхъестественных. Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался

удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всём тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счёт и не заставить его замечать того, в чём нужно было от него таиться.

Наступила ночь. Артём, по обыкновению, лёг рано в постелю, укутался с головою; но не спал и прислушивался, спит ли старик. С вечера было темно; старик ворочался в постели и бормотал что-то себе под нос; но когда взошёл месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял с собою какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из избы, не скрипнув дверью. Мигом Артём был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел также тихо. Притаясь в сенях, он выглядывал, куда пошёл старик, и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени… Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков: посмотрим, что-то делает наш Артём.

Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и, в случае нужды, ползучи по траве, как ящерица, успел он пробраться за стариком в са-

мую чащу леса. Середь этой чащи лежала поляна, а середь поляны стоял осиновый пень, вышиною почти вполчеловека. К нему-то пошёл старый колдун, и вот что видел Артём из своей засады, которою служили ему самые близкие к поляне кусты орешника.

Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня, и Артёму казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошёл тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал вполголоса такой заговор: «На море Океане, на острове Буяне, на полой поляне светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтоб они серого волка не брали и тёплой бы с него шкуры не драли». Ночь была так тиха, что Артём ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся чрез него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артём видит: старика не

стало, а наместо его очутился страшный серый волчище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл.

Во всё это время Артём дрожал от страха как осиновый лист. Зубы его так часто и так крепко стучали одни о другие, что на них можно б было истолочь четверик гречневой крупы; а губы его, впервые, может быть, от рождения, сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства: это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артёма бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами; а наш Артём сделал если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошёл к пню, призадумался, почесал буйную свою голову — и после давай обходить около пня и твердить то, что слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого: он стал лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком, и за третьим разом глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперёд, балахон сделался длинною, пушистою

шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился, как метла. Дивясь такой скорой перемене своего подобья и платья, он попробовал молвить слово — и что же? Вместо человечьего голоса завыл волком; попытался бежать — новое чудо! уже ноги его не цеплялись, как бывало прежде, друг за друга.

Новый оборотень не мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своём виде. Мне, признаться, никогда не случалось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артём остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину? Тут ему пришла мысль, достойная того, в чьей голове она зародилась: он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка, — думал он, — посмеюсь и я над ними: пойду утром в селение и стану бросаться на всякого… как же эти удальцы будут меня бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выспаться: в этой шубе мне будет и тепло и мягко даже на сырой траве…» Вздумано — сделано: наш Артём, или оборотень, забрался снова в кусты орешника, лёг и заснул крепким сном.

Долго ли спал он, не знаю наверное; только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял: он хотел захохотать — но вместо хохота раздался такой пронзительный отрывистый волчий вой, что бедный Артём сам его испугался. Потом, опомнясь и видя, что он пугается собственного смеха, он захохотал ещё сильнее прежнего, и ещё громче и пронзительнее раздался вой. Нечего делать: как ни смешно ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтобы не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своём намерении — потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошёл к селению. Дорогою попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу; каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, чтоб это был простак Артём; все думали, что то был точно оборотень, — только отец его, старый колдун Ермолай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил: *чур меня! чур меня!* Это ещё больше веселило простодушного Артёма, ещё больше поджигало его идти в селение; никогда, никто его

столько не боялся, как теперь: какая радость! Да то ли ещё будет в селении? как все всполошатся, крикнут: «Волк!» — станут его травить собаками, уськать, тюкать, соберутся на него с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет вести: его ни дубина, ни железо, ни пуля не возьмёт, и собаки боятся… То-то потеха!

И в самом деле, всё селение поднялось на *серого забияку.* Сперва встречные бежали от него, крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами запрятались в подушки: все знали, что то был не простой волк. Скоро, однако ж, нашлись удальцы, крикнули по селению, что один конец должен быть с старым колдуном, и повалили толпою: кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом — обступили волка и давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щёлкал ими: но наконец робость его одолела: он знал, что, в силу заговора, его не убьют и даже не наколотят ему боков; но могут ощипать на нём шерсть, оборвать хвост, и тогда — как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными полами? Беда!

Правда, не нашлось ещё смельчака, который бы вышел с ним переведаться: все уськали, кри-

чали только издали, а ни один не подавался вперёд. Собак же и вовсе не могли скликать; они разбрелись по конурам и носов не выказывали. Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. Ещё новое горе бедному нашему оборотню: он ничего не ел от самого вечера и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? и кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? Ахти! вот до чего доводит безрассудство! он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид! Ну, придётся горюну Артёму умереть с голоду или исчахнуть с тоски-кручины в волчьей коже… Он задрожал всеми четырьмя ногами, упал, свернулся в комок и уключил голову промеж передних лап.

Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем: зарыть ли его живого в яму или связать и представить в волостное правление? В это время слух о трусости оборотня разнёсся уже по селению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка: эта смелая девушка была Акулина Тимофеевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую ум-

ную речь:

— Добрые люди! не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотня вы добра себе немного сделаете, а худа не оберётесь; в судах же, я слыхала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится почище всякого честного бедняка. Послушайте меня: разойдитесь с богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше.

Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила: они послушались её речей и расступились в разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка.

Акулина Тимофеевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и постлала ему в углу свежей соломы; потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артём жалким и вместе смешным образом сморщил волчье своё

рыло, слёзы капали из мутно-красных его глаз, и он, верно бы, заревел как малый ребёнок, если бы не побоялся завыть по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клети и оставила его отдыхать и горевать на свободе.

Вечером Акулина Тимофеевна пошла к старику Ермолаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала, и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всём, сердился на Артёма и твердил: «Ништо ему, пусть-ка погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слёзы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик под полу и пошёл с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривлянья, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и выл так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. Вслед за сим наказанием колдун обошёл трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос; потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него

кожу накрест, от затылка до хвоста и впоперёк спины. Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артём вскочил на ноги, с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень, очень красными ушами. Отряхнувшись и потёршись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед наречённым своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом: «Виноват, батюшка! прости». Старик отечески потазал его снова, пожурил — да и простил.

Акулина Тимофеевна очень полюбилась старому Ермолаю: он заметил в ней природный ум и расчёл в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приёмышу, который, после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такою дорогою ценою — то есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублёвичков.

Короче: дня через три вся деревня пировала на свадьбе Артёма Ермолаевича с Акулиной Тимофеевной; и хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого мёду немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешёл вместе с молодыми, названым сыном и невесткою, в какую-то дальнюю деревню, где дотоле и слыхом

про него не слыхивали. Сказывают, что он провёл остальные годы своей жизни честно и смирно, делал добро и помогал бедным, зато умер тихо и похоронен как добрый на кладбище с прочею усопшею братией. Сказывают также, что Артём, пожив несколько лет с умною и сметливою женою, сделался вполовину меньше прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сельские старосты. Каково он судил-рядил, не знаю; а только в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофеевна была челышко[2] изо всех умных баб.

Эпилог

Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасёнки должно непременно следовать нравоучение; что всякое повествование должно иметь нравственную цель и что всё печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели, и какое нравоучение присудите мне прибрать к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести? Что до меня касается — я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления:

---

[2] Примечания: 2
Самая умная.

что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком. Нравоучение близкое и ясное, и кажется — если, впрочем, самолюбие мне не обманывает — оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов, вечно-лирической памяти, прибрал к своей басне «Волк пастух»[3].

[3] Примечания: 3

Я басню всю коротким толком
Хочу вам, господа, сказать:
Кто в свете сём родился волком,
Тому лисицей не бывать.

Сказка о медведе Костоломе и об Иване, купецком сыне

Посвящается баронессе С. М. Дельвиг

В старые годы, в молодые дни, не за нашею памятью, а при наших дедах да прапрадедах жил-был в дремучих лесах во муромских страшный медведь, а звали его Костолом. Такой он страх задал люду православному, что ни душа человеческая, бывало, не поедет в лес за дровами, а молодые молодки и малые дети давным-давно отвыкли туда ходить по грибы аль по малину. Нападёт, бывало, супостат-медведь на лошадь ли, на корову ли, на прохожего ли оплошалого — и давай ломить тяжёлою своею лапою по бокам да в голову, инда гул идёт по лесу и по всем околоткам; череп свернёт, мозг выест, кровь выпьет, а белые кости огложет, истрощит да и в кучку сложит: оттого и прозвали его *Костоломом.* Добрые люди ума не могли приложить, что это было за диво. Иные говорили: это-де божье попущение, другие смекали, что то был колдун-оборотень, третьи, что леший прикинулся медведем, а четвёртые, что это сам лукавый в медвежьей шкуре. Как бы

то ни было, только хоть никто из живых не видал его, а все были той веры, что когда Костолом по лесу идёт — то с лесом равен, а в траве ползёт — с травою равен. Горевали бедные крестьяне по соседним сёлам; туго им приходилось: ни самим нельзя стало выезжать в поле на работы, страха ради медвежьего, ни стада выгонять на пастьбу. Сильных могучих богатырей, Ильи Муромца да Добрыни Никитича, не было уже тогда на белом свете, и косточки их давно уже сотлели; а мечи их кладенцы, сбруи ратные и копья булатные позаржавели: так избавить крестьян от беды и очистить муромский лес от медведя Костолома было некому.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Прошло неведомо сколько времени, а медведь Костолом всё по-прежнему буянил в лесу муромском. Вот забрёл в одно ближнее к лесу селение высокий и дюжий парень, статен, бел, румян, белокур, лицо полно и пригоже, словно красное солнышко. Все девицы и молодицы на него загляделися, а молодые парни от зависти кусали себе губы. За плечами у прохожего была большая связка с товарами, а в руках тяжёлый железный аршин, которым он, от скуки, помахивал, как павлиньим пёрышком. «Здравствуй,

добрый молодец, — повёл с ним речь Вавила, сельский староста, — издалека ли идёшь, куда путь держишь?» — «Не больно издалека, дядя: города я Коврова, села Хворостова, прихода Рождества Христова; а путь держу к Макарьеву на ярманку». — «А с какими товарами, не во гнев тебе будь сказано?» — «Да с разными крестьянскими потребами и бабьими затеями: ино платки да кумачи, ино серьги да перстеньки». — «А как величать тебя, торговый гость?» — «Зовут меня: Иван, купецкий сын». — «И ты не боишься один ходить по белу свету с товарами?» — «Чего бояться, дядя! на дикого зверя есть у меня вот этот аршин, а с лихим человеком я и просто своими руками справлюсь». — «Зверь зверю не чета, удалый молодец. Вот, недалеко сказать, и у нас завелась экая причина в муромском лесу: медведь Костолом дерёт у нас и людей, и всякий крупный и мелкий скот». — «Подавайте мне его! — вскрикнул Иван, купецкий сын, засуча рукава красной александрийской своей рубашки. — Я с ним слажу, будь хоть он семи пядей во лбу. Давно уже слышу я слухи про этого медведя, а хотел бы видеть от него виды. Меня сильно берёт охота с ним переведаться… Что же вы распустили горло, зубоскалы? — примолвил он с сердцем,

оборотясь к молодым парням, которые смеялись до пологу, потому что сочли его за хвастуна. — Ну вот отведайте-ка сил со мною: не поодиночке, такого из вас, вижу, не сыщется, а ухватитесь сколько можете больше за обе мои руки». Вот и налегли ему на каждую руку по четыре человека, и держались изо всех сил. Иван, купецкий сын, встряхнулся — и все попадали как угорелые мухи. «Это вам ещё цветики, а вот будут и ягодки, — сказал Иван, купецкий сын, — кто из вас хочет помериться моим аршином? Возьмите». Только кто ни брался за аршин, не мог и приподнять его обеими руками. «И не диво, — проговорил Иван, купецкий сын, — в нём двенадцать пуд счётных. Теперь смотрите же». Он взял аршин в правую руку, размахнул им, инда по воздуху зажужжало, и бросил вверх так, что аршин из глаз ушёл, а после с свистом полетел вниз и впился в землю на полсажени. Иван, купецкий сын, подошёл к тому месту, выхватил аршин из земли, как морковку, и, поглядя на насмешников таким взглядом, что у каждого из них во рту пересохло, молвил: «Смейтесь же, удальцы! или вы только языком горы ворочаете?.. Ну, смелее, дайте окрик на самохвала». — «Молодец! силач!» — крикнули в один голос и старый, и малый. Староста Вавила

повёл Ивана, купецкого сына, в свой дом, истопил баню для дорогого гостя, накормил его, напоил и спать уложил.

Вот на другой день, ещё черти в кулачки не бились, Иван, купецкий сын, встал, умылся, богу помолился и, оставя связку с товарами в доме у старосты, взял только свой аршин и пошёл к лесу. Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли ходил он — мы не станем переливать из пустого в порожнее: скажем только, что все крестьяне не пошли в тот день на работу, а сошлись на площади перед церковью, молились богу за Ивана и за то, чтоб он одолел медведя Костолома, и забыли о еде и питье. Щи выкипели в горшках у баб, каша перепарилась, и хлебы в печи пригорели, а никто и не думал идти обедать. Ждать-пождать — Ивана нет как нет! Вот и солнышко пошло на закат; все крестьяне, осмелясь, вышли из деревни, стали около огородов и не сводя глаз смотрели к лесу; жалели о купецком сыне, думали: что он на беду свою расхрабрился; а красные девушки и вздыхали тайком в кумачные рукава свои — не ведаю, об Иване или о медвежьей шкуре: не время было тогда выпытывать. Вдруг послышался из лесу такой страшный рёв, что у всех от него головы пошли ходенем. Смотрят — из лесу бежит

большой-пребольшой чёрный медведь, а на нём сидит верхом Иван, купецкий сын, держит медведя руками за уши и толкает под бока каблуками, которые подбиты были тяжёлыми железными подковами; аршин Иванов висит у него за поясом и от медвежьей рычи болтается да тоже постукивает по медведю. Спустя малое время медведь с седоком своим прибежал прямо к деревне и упал замертво у самого того места, где собрались крестьяне. Иван, купецкий сын, успел соскочить вовремя, схватил свой аршин и единым махом раскроил череп медведю. «Вот вам, добрые люди, живите да радуйтесь, — молвил купецкий сын крестьянам, — видите ли, у вашего Костолома теперь и у самого кости переломаны». После того зашёл он к старосте, выпил чару-другую зелена вина, наелся чем бог послал, сказал спасибо хозяину и, вскинув связку за плечи, пожелал всему сельскому миру всего доброго. «Чем же мы тебе поплатимся за твою послугу?» — спрашивали крестьяне. «Добрым словом да вашими молитвами», — отвечал Иван, купецкий сын. «А шкура-то медвежья? ведь она твоя!» — взговорили ему крестьяне. «Пусть она при вас останется: берегите её у себя в деревне да вспоминайте про Ивана, купецкого сына!» Засим поклон — и был таков.

Крестьяне пировали три дня и три ночи по уходе Ивана, купецкого сына, на радостях о своей избаве от медведя Костолома. И я там был, мёд-пиво пил: по усам текло, а в рот не попало… А к этой сказке вместо присловья любезной нашей именинице желаю доброго здоровья: дай ей бог жить да поживать, худа не знать, а добро наживать да пиры пировать!

Сказка о Никите Вдовиниче

Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки; рассказывается не сзади, а спереди, не как дядя Селиван тулуп надевал. А эта сказка мною не выдумана, из старых лык не выплетена и заново шёлком не выстрочена: мне её по летним дням да по осенним ночам рассказывал Савка-Журавка долгоног, железный нос.

Савка-Журавка по двору ходит, чёрным глазом поводит, с ноги на ногу переступает, долгую шею через плетень перегибает, острым носом друга и недруга допекает. А как крыльями встрепенётся да звонким голосом отзовётся: «курлы-курлы!» — так у всякого и ушки на макушке, и слюнка изо рта потечёт… Савка-Журавка голосную песню затягивает, умную речь заговаривает и такую сказку рассказывает… *курлы-курлы!*

Во славном городе во Чухломе жила-была старушка горемычная, вдова человека посадского, а имя ей Улита Минеевна. Муж её Авдей Федулов, не тем покойник-свет будь помянут! большой был гуляка: торг повести да на счётах раскинуть не его было дело; а пиры пировать да именины справлять — его подавай. Так и все свои животы

прогулял да пропил, а не в добрый час и его самого подняли мёртвого в царёвом кружале под лавкою. Бедная вдова после его смерти обливала горючими слезами не столько могилу своего друга сердечного, сколько своё вдовье платье и сиротские недоимки. Не было у неё, что называется, чем собаки из двора выманить; а которых крох не растерял покойный её сожитель, и те пошли по его же душе, на похороны да на поминки. Худо быть человеку семейному горьким пьяницей: и перед богом грешит, и людей смешит, и чужой век заедает.

Не на радость остался и сынок бедной вдове горемычной, единое её детище, Никита: и тот по отцу пошёл. Пить не пришла ещё ему пора, потому что после отца он остался молоденек, годов о двенадцати; зато к работе его, бывало, не присадишь. Мать бедная перебивалась кое-как своими трудами, из того кормила его и одевала; а он только с утра до ночи рыскал по улицам да играл в бабки с чужими ребятами. Этого дела, нечего сказать, был он мастер; а как, по пословице, *всякое дело мастера боится,* то и бабки словно его боялись и слушались. Не выискивалось ещё молодца, кто б обыграл Никиту Вдовинича: такое в насмешку дали ему на улице прозвание вместо

Никиты Авдеича.

Никитино уменье не полюбилось соседним ребятам, которых он день при дне дочиста обыгрывал, так что они не могли у себя напастись бабок. Не раз они щипали Вдовинича за его удачу и однажды стакнулись ворваться всей гурьбой к нему в дом и отъёмом отнять у него все бабки. Шепнул ли кто Никите, сам ли он догадался — только он как-то об этом спроведал. «Постой же! — молвил он сам про себя. — Я упрячу мои бабки в такое место, куда из этих сорванцов ни один не посмеет просунуть нос». Сказано и сделано: как наступила ночь, Никита Вдовинич собрал все свои бабки, склал их в запол и снёс на кладбище. Там отыскал он могилу своего отца и принялся рыть в ней яму, чтобы туда спрятать любимую свою потеху до поры до времени. Видно, Никита, хоть и слыл дурачком и служил посмешищем всему соседнему миру, а был-таки себе на уме: небось не стал же рыться в чужой могиле! Он смекнул, что и после смерти *свой своему поневоле друг.*

Вот как он раскапывал землю, вдруг послышался ему голос из могилы: «Кто тут?» Никита не оробел и смело ответил: «Я, батюшка!» — «Сын мой любезный, дитя моё милое! тяжко мне под

сырой землёй! — простонал ему тот же голос. — А ещё мне тяжелее оттого, что тебя с матерью, по грехам моим, покинул при недостатках. Слушай же: я знаю, что тебя вовсе не тянет к работе; ты весь в меня, и личиком и станком, и разумом и умом. Я тебе помогу, детище моё желанное, и вызволю тебя из бедности; только приходи по три ночи сюда, ко мне на могилу, в глухую полночь, за час — за два до первых петухов. Что бы здесь ни деялось, не робей; станут играть в бабки — играй, только старайся весь кон сбиваться и все бабки к себе забирать. Теперь же покамест ступай себе с богом! прощай!»

Никита смекнул делом, в какую честную компанию звал его родной батюшка и с какими игроками должно ему было тянуться; однако ж как малой не трус он вздумал пойти наудалую и отведать своего счастья. Вот, пришедши домой, молвил он своей матери, Улите Минеевне: «Благослови, государыня матушка, на доброе дело: меня зовут лавочники по три ночи стеречь лавок, а сулят за то гривну медью, да хлеба вволю, да новые рукавицы». Улита Минеевна была рада-радёшенька, что бог надоумил её детище жить на белом свете трудовою копейкою; она чуть не прослезилась от доброй вести. Матери за благо-

словеньем не в ларец ходить: не раздумывая, не разгадывая, благословила Улита Минеевна своего Никиту и отпустила его с крестом и молитвой. Только он, вместо лавок, поплёлся на кладбище, раскидывая умом-разумом, что-то из этого будет.

Вот прилёг он на отцовой могилке, ни шкнёт, ни чихнёт и ни ухом поведёт. Не спится ему, правду сказать: да ведь батюшка родимый не за сном же и звал его туда. Долго ли, коротко ли было дело, только вдруг подул и пронёсся полуночный ветерок по кладбищу и запрыгали огоньки над могилами, словно клады из-под земли выскакивали морочить люд православный, либо затейник какой, стоя на кладбище, сеял по нём гнилушкой. Вдовиничу послышалось, что под землёю мертвец мертвеца спросил: «Пора?» — а тот ему ответил: «Пора!» И пошла трескотня по могилам: каждый мертвец упирался ногами и руками в гроб, сшибал долой крышку вместе с земляной насыпью и выходил на белый свет в белом саване. И все они сходились на поляну перед кладбищенской часовней, здоровались, кланялись друг другу, будто люди путные из миру крещёного. Никита Вдовинич всё лежал по-прежнему и смотрел на такие предивные диковинки; вдруг его невесть что-то отбросило:

он скатился с могилы вместе с ворохом земли, и перед ним как лист перед травой очутился его батюшка Авдей Федулович. «Сын мой любезный, дитя моё милое! — возговорил он детищу своему желанному. — Слушай в оба, а не в полтора, что я тебе говорить буду. Наши честные покойники в эту пору встают да от скуки потешаются в бабки; не робей, играй с ними. Если в игре будешь удачлив, так и в житье будешь счастлив и талантлив; а нет — на себя пеняй. Помни же, сын мой любезный, дитя моё милое: что ни есть на кону — всё сбивай, ничего не оставляй; особливо в третью ночь почтись и весь последний кон сорви — не то с тебя сорвут твою буйную головушку. Пуще всего, не робей. Теперь пойдём, благословись».

Не любо было Никите Вдовиничу слышать, какой был зарок на игре положен; да нечего делать: взявшись за гуж, не ворчи, что не дюж! Вот и пошли они к гурьбе покойников; а там крик, гам, беготня, толкотня, хохотня. Никиту мороз по коже подирал, когда он воззрился да вслушался, что там было. Иной мертвец, вытянув костлявую шею и выставя свой череп из-под савана, страшно скалил зубы и грохотал, как из пустой бочки; видно, по русской поговорке, он и на том свете чудак был покойник: умер, да зубы скалил. Другой

— бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, непременно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвёртый… Ну да бог им судья! все они были на ту же стать.

Вот и завопила вся гурьба покойников: «Давай в бабки!» Поставили на кон бабок видимо-невидимо, да у каждого было в заполе савана по целому вороху. Опять запрыгали огоньки на могилах, скок да скок — и столпились в два ряда вокруг поляны, что перед часовней, наподобие как, если кто видал из вас, люди добрые, зажигаются плошки для потешных огней по большим праздникам и ими, словно бисером да каменьями самоцветными, унизываются городские улицы и площади. Нашему Вдовиничу сызнова стало жутко, когда он с отцом вошёл в середину сходбища. Все мертвецы заорали не своим голосом: «Чужой! чужой!» — как будто собаками на него уськали. Добро бы тем и кончилось; так нет! они косились на него глазами, моргали бровями, щёлкали зубами, морщили носы, щетинили усы и кривляли рты, словно не они, а он был покойником. Вот один и подкатился и молвил отцу Никитину:

«А ты, дядя Авдей, что ж не играешь в бабки? поставил бы своего мальца на кон, авось бы мы его срезали». — «Где вам, мякинникам, со мной тягаться! — ответил Авдей Федулов. — Вот глядика на моего мальца: он, кажись, и невзрачен, и не нашего ещё лесу кочерга, а дайте-ка ему бабки в руки — всех вас за пояс заткнёт!» — «Хвастливого с богатым не распознаешь! — завопили мертвецы в один голос — Не в похвале б сила, а в деле. Ну-ка, ин выпусти своего щенка на наших волков. Только, знаешь: уговор лучше денег. Его выигрыш — его и счастье, а проиграет — головой отвечает; да и ты на свою долю столько добудешь совков да пинков, что всех не уложишь к себе в могилу». — «Ладно! — сказал Авдей Федулов. — Грозите богатому, авось-либо копейку даст; а с меня-то вам взятки гладки». — «Ну-ну! пустого не болтать и делу не мешать! — крикнул-гаркнул один долговязый мертвец, который был у них в игре старостой и уставщиком. — Начинать так начинать; а то вы, пожалуй, и до петухов прокалякаете». Тут он схватил Никиту за оба плеча, толкнул вперёд, уткнул носом чуть не в землю, указал на груду бабок и промолвил: «Бери, да ставь, да замётывай!» Никите не люба была такая грубая поведенция, он осерчал; однако прикусил

язык, набрал бабок и пустился в игру. Хвать да хвать, глядишь — и весь кон сбил; поставили другой — и тот будто рукою снял; поставили третий — и того как не бывало: не дал мертвецам, что называется, ни росинки подобрать. Дивовались покойники такой удаче и захлопали глазами да заскрыпели зубами пуще прежнего. Никите сдавалось, что ему несдобровать; ан вот как тут по посаду раздалось: кукареку! Никита глядь — ни огоньков, ни мертвецов не стало, могилы заровнялись так, что не было ни следа, ни приметы; с той стороны, откуда солнышко всходит, занималась утренняя заря, и перед нашим Вдовиничем лежала груда сбитых им бабок, чуть не с головой его в уровень. Он подрылся под часовню и туда запрятал свои бабки; видно, отец-батюшка родимый шепнул ему, что тут-де ни мёртвый, ни живой их тронуть не посмеет. Ещё православные в городе глаз не продрали, а Никита приплёлся домой, залез на полати и такую дал высыпку, что чуть обеда не проспал.

На другую ночь было ему поваднее идти на кладбище. Опять прилёг он на отцовской могиле; опять чуть только повеял полуночный ветерок, заиграли огоньки на могилах, и опять пошла трескотня и хлопотня по кладбищу. Батюшка

Никитин, Авдей Федулович, снова встал и повёл его на сходбище разгульных покойников, а там по-вчерашнему — крик, гам, беготня, толкотня, хохотня; только уж на этот раз Вдовинич наш не робел и раскланивался что ни с самыми лихими мертвецами, будто со старыми знакомыми. Все вскрикнули, увидя его: «Подавай сюда молодца! подавай игрока!» — инда гул пошёл по кладбищу; а Никита кинулся к своим вчерашним бабкам, набрал их сколько надо было и поставил на кон. Хвать да хвать — бабки валяются, инда пыль столбом идёт; глядь-поглядь — трёх конов как не бывало. Зашевелилось и загудело племя покойничье, зачесалась буйная головушка у Никиты Вдовинича; а петухи как тут: кукареку! Никита глядь — всё по-прежнему: мертвецов не стало, огоньки потухли, могилы заровнялись, а перед ним опять бабок несметная сила. Никита убрал их в свою старую похоронку, под часовню; а сам был таков: прибежал домой, залез на полати и давай отхрапывать, инда бревенчатые переборы задрожали.

Вот наступила и третья ночь. Никита наш соколом полетел к погосту, а уж ему невтерпёж лежать на могиле: так ему слюбилось обыгрывать покойников. «Есть же простаки на том

свете! — смекал он про себя. — Да мне их обыграть как пить дать...» Не успел додумать своей думы про покойников и их простоту, как вдруг, вместо тихого полуночного ветерка, взвыла буря, закрутился вихорь, и пошёл дым коромыслом по кладбищу. Благо, что на Никите не было шапки, да и не наживалось; а то бы её занесло за тридевять земель; чуть и головы-то с него не сорвало. Огоньки лениво выпархивали из могил, и те такие тусклые, что чуть брезжились. Трескотня да возня поднялись по кладбищу, что хоть святых вон неси. Все мертвецы вскакивали как опаренные, встрёпывались и бегом бежали на поляну, облизываясь, как вот перед куском мяса. Словно нехотя поднялся Вдовиничев батюшка, Авдей Федулович, и повёл такую речь с сынком своим: «Сын мой любезный, дитя моё милое! наши честные покойники на тебя зубы вострят и губы разминают, за то что ты в бабках с них спесь посбил. Смотри же, дитятко моё желанное! не положи охулки на руку. В эту ночь, а особливо за последним коном, будут тебе всякие помехи и страсти; только ты скрепись и не бойся: гляди зорко, бей метко и старайся пуще всего снять на последнем кону чёрную бабку; в ней-то вся сила. Кто этой бабкой завладеет, тот чего ни похочет

— мигом всё у него уродится; надо только знать, как с нею водиться. Коли ты эту бабку сшибёшь да к рукам приберёшь, так тебе стоит только ударить ею о земь да приговаривать: «Бабка, бабка, чёрная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу», а затем и примолвить, чего ты от ней добыть хочешь; вот оно и явится перед тобой как лист перед травой. Да смотри, береги эту бабку пуще своего глаза: у тебя будут её выручать всякими хитростями, только ты не давайся в обман». Тут Авдей Федулович взял сына за руку и повёл на поляну. Загудела вся ватага мертвецкая, что пчёлы в улье: «Давай его, давай!» — а наш Вдовинич и ухом не ведёт; набрал бабок, поставил на кон и начал пощёлкивать. Только теперь было не попрежнему: то гром прогремит, то дождь зашумит, то свист пробежит; огоньки чуть брезжутся и всё тусклее да тусклее; а на Вдовинича выпустили игроков что ни самых удальцов. Никита всё-таки не унывал; он прищуривался то с правого глаза, то с левого, приглядывался и прицеливался — и сбил два кона дочиста. За третьим стало ещё хуже: поднялась метель; ветер так и рвал, и крутил, и сдувал огоньки на сторону; свету не было и

настолько, чтобы доброму человеку ложку мимо рта не пронести, а снег хлопьями так глаза и залепливал. Никита взял догадку: он левою рукою сделал себе кровельку над глазами, выглядывал, высматривал — и заприметил на кону чёрную бабку, к самому левому краю. Давай в неё бить: раз, два… а буря-то пуще злится, а гром так и трещит, что словно небо расседается, а молния так и сверкает сзади и с боков, и сманивает глаз на сторону, чтобы смигнул, а снег так и застилает глаза… Это ещё цветики, а ягодки будут впереди. Два раза промахнулся наш Вдовинич: приладился совсем, ему бы только ударить; ан тут гром и грянет, а молния да снег так и заслепят его очи ясные. За третьим разом показались ему разные страхи: то Змеи Горынычи, то Полканы-богатыри с казачьими усами и конскими хвостами, то Чуда-Юда, железные зубы, то лешие, то водяные… ну, в добрый час молвить, в худой промолчать — вся нечисть подземная, вся тьма кромешная. Никита оторвал клок рукава, расщипал и заткнул себе по охлопку в оба уха, правый глаз зажал, левую руку свернул в трубку и приставил к левому глазу, чтоб ему не слышать никакого шума и не видать ничего, кроме чёрной бабки. Тут он начал причитать в уме-разуме все посты и все загове-

нья, середы и пятницы, понедельники и честные сочельники, а родительскую субботу помянул чуть не трижды; навёл на чёрную бабку глаз с левою рукою, приладился правою, замахнулся, хвать — и вдруг что-то хряснуло, инда нашему Вдовиничу небо с овчинку показалось. Он со всех ног бросился к кону: глядит, а перед ним чёрная бабка лежит, сбитая его метким молодецким ударом. Он за неё — и схватил в обе руки; а мертвецы к нему сыпнули всею гурьбою, а петухи как тут: кукареку! — и не стало ни мертвецов, ни огоньков, заровнялись могилы, и на погосте наступила тишь да гладь да божья благодать. Никита Вдовинич зажал чёрную бабку у себя под мышкой, остальные пометал в своё упрятище под часовней, поклонился ещё однажды батюшкиной могилке, пришёл домой и улёгся на полатях. «Теперь, — смекал он, — вольно мне спать вплоть до вечера; а захочу поесть, так найду кусок полакомее да посытнее матушкиных ленивых щей, где крупинка за крупинкой не угоняется. Они уж и так мне бока промыли!»

Никита Вдовинич был крепок на слово: он спал богатырским сном вплоть до вечера. Матушка его, Улита Минеевка, не будила его и к обеду: намаялся-де, сердечушко, на стороже, третью

ночку не спал. В сумерки Вдовинич проснулся, встал, встрепенулся, умылся, богу помолился и опрометью вон из избы пустился; прибежал на огород, ударил бабкой о земь и приговаривал: «Бабка, бабка, чёрная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне с начинкой пирог в сажень длиной да в охват толщиной». Не успел он глазом смигнуть, а уж перед ним лежал пирог в сажень длиной и в охват толщиной. «Ладно! — молвил Никита. — Дело-то так, да сладить-то как?» Пытался он разломить пирог, так не под силу, а целиком донести до избы — и того пуще. Думал-думал наш Вдовинич и вздумал: отыскал над навесом старые дровнишки, прикатил их в огород; опять беда; как поднять пирог на дровни? «Эй ты, моя нечёсаная башка! не разумна, хоть и велика! — вскрикнул Вдовинич, схватя свою буйную голову за кудри кольчатые и встряхнув их, как злая мачеха своего пасынка. — Ну что я стал в пень? Велико диво, как пирог снесть! Вот побольше того, коли одному его съесть». Тут он, не разгадывая и не откладывая, ударил чёрною бабкой о земь, протвердил как зады свой заученный наговор: «Бабка, бабка, чёрная лодыжка! — и

примолвил: — Взвали мне пирог на дровни». Пирог очутился на дровнях, а Никита впрягся в оглобли и ну тащить изо всех жил, да не тут-то было! *тпрю* не едет и *ну* не везёт. Опять принялся он за чёрную бабку: «Помоги-де мне пирог в избу привезти», и дровни покатились сами собою; Никита чуть успевал бежать, чтоб они ему в сугорбок пинков не надавали. Прикатились к дверям, а двери-то узеньки да низеньки; только ведь у нас не по-вашему, хоть тресни, а полезай: двери расступились, дровни вкатились и свалили пирог на дубовый стол, а сами тем же следом назад, на попятный двор, под навес, — и опять всё стало по-старому, по-бывалому. И возговорил Никита Вдовинич своей матушке, Улите Минеевне: «Вот тебе, государыня матушка, гостинец от гостей торговых; кушай себе на здоровье». Улита Минеевна, увидя пирог, от радости руками всплеснула и голосом взвыла, словно покойницу свекровь хоронила. «Ах, они, мои батюшки, купчики-голубчики! потешили меня, вдову горемычную! Пошли им, господи, втрое того за их добродетель». Тотчас взяли топор, разрубили пирог на куски и принялись вдвоём уписывать; куда! и сотой доли съесть не могли. Никита наелся так, что инда пить ему захотелось. Вот он выбежал в присенок,

ударил бабкой о земь и сказал: «Бабка, бабка, чёрная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне браги ушат, чтобы стало со днём на неделю, пусти в него красный ковш и поставь здесь в уголку». Махом проявился в углу ушат браги, полнёхонек и с краями ровнёхонек, а посередине плавал гоголем красный ковшик. Опять Никита сказал своей матушке, что это купцы дали ему за добрую сторожу, и Улита Минеевна так обрадовалась, что всех купцов чухломских чуть заживо в угодники не причла. «А куда же ты, моё дитятко, девал свои новые рукавицы да гривну денег? — спросила она у Никиты. — Аль потерял да потратил?» — «Нет, государыня матушка, не потерял, не потратил, а в тёплое местечко попрятал». Тут он опять выскочил в присенок и хватил бабкой о земь: «Чтобы, дескать, уродились мне рукавицы новые строчёные да денег семь алтын с деньгой». Всё это поспело как за ухом почесать. Рукавицы новые строчёные, на них каймы золотые тиснёные, сами наделись на руки, а семь алтын с деньгой, в цветной калите шёлку шемаханского, висели у Вдовинича за поясом. Опять матушка его, вдова горемычная Улита Минеевна,

диву дивовалась и дарами любовалась, да молила бога за своего сынка ненаглядного, который сам теперь стал ей кормильцем.

На другой день Улита Минеевна пошла звать старушонок-соседок да кумушек-голубушек попировать даровыми пирогом да брагой; а они, дело домышленное, лакомы на то, что не на свой грош куплено: пили, ели, чуть не лопнули, а всё ещё пирога да браги осталось на добрую неделю.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наш Никита Вдовинич, чёрной бабкой о земь постукивая да того-другого, прочего попрашивая, как сыр в масле катался и рос не по дням, по часам. Прошло семь лет с походом, и он стал таким молодцом взрачным да ражим, что все на него заглядывались: лицо кругло и полно, что светел месяц, бело и румяно, что твоё наливное яблоко; а сила у него проявилась такая, что с одного щелчка между рог быка убивал. Двор у него был как город, изба как терем, и в ней всякой рухляди да богачества, что и в три года не счесть. Матушка его Улита Минеевна в одну ночь охнула, вздохнула, да и ножки протянула, обкушавшись на именинах своего детища возлюбленного яств сахарных да опившись мёду сладкого. И стал наш Никита Вдовинич сам себе старшим, сам себе

хозяином, и вошёл он в честь и славу великую, в те поры как Пошехонье поднялось войною на Чухлому. А той войне была такова вина: чухломский богатырь Куроцап Калинич напоил на молодецком разгулье пошехонского богатыря Анику Шибайловича сонным зельем да обрил ему половину головы, половину бороды и вытравил его заповедные луга своими конями богатырскими; вот и взорвало это пошехонцев, и вздумали они отсмеять насмешку чухломцам. Зашумела рать-сила несметная, началась битва кочерёжная, поднялась стрельба веретённая, наступили на твердыни крепкие, на жернова мукомольные. И взмолились чухломцы всею громадой Никите Вдовиничу, чтобы вступился за своих земляков-однокашников. Никита Вдовинич всё дело разом порешил: как выехал он на борзом коне в полстяном колпаке да крикнул-гаркнул молодецким голосом, богатырским покриком на сильных могучих пошехонских витязей. Анику Шибайловича да Шелапая Селифонтьевича: «Что вы, мелкие сошки, сюда носы показали? много ли вас и на одну руку мне? Куда вы годитесь? вас бы только спаровать да чёрту подаровать!» Аника Шибайлович да Шелапай Селифонтьевич прогневались на такие речи обидные и бросились с

двух сторон на Никиту Вдовинича; только он был не промах: одного взял за ус, другого за бороду и подбросил их выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Тут пошехонцы оробели, дрогнули, побежали и давай прятаться: кто в гору, кто в нору, а иные, поджав хвосты, в часты кусты.

В те поры жила-была в Чухломе дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная; жила она в неге и в холе, в девичьем раздолье, пока батюшка её не проторговался дочиста. Добрые молодцы по дням не едали и по ночам не сыпали, заглядевшись на её очи соколиныя, на её уста кармазинныя; красные девицы завидовали её русой косе, девичьей красе да её парчовым шубейкам и золотым повязкам; а старые старухи поговаривали, что она спесива, причудлива и своеобычлива — в пологу спать не ляжет, в терему шить не сядет: в пологу-де спать душно, в терему шить скучно. Полюбилась нашему Никите Вдовиничу дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная, заслал он свах к её батюшке, и те свахи наговаривали столько добра о Никите Вдовиниче, а пуще о его житье-бытье и богачестве, что отец, и мать Макриды Макарьевны, да и сама невеста, рады-радёшеньки были такому жениху. Никите Вдовиничу не пиво варить, не мёды сла-

стить: всё мигом уродилось; так весёлым пирком да и за свадебку. Вдовинич задал пир на весь мир; а после стал жить да поживать со своею молодой женой Макридою Макарьевной, красотой ненаглядною.

Скорая женитьба — видимый рок: наш Никита Вдовинич женился как на льду обломился. Солона пришлась ему жена, красавица ненаглядная; ни днём ни ночью покоя не знай, всё ей угождай. Уж ей ли не было неги и во всём потехи! Да правда, что прихотливой и сварливой бабе сам чёрт не брат. Никита Вдовинич, сказать не солгать, из рук не выпускал чёрной бабки; извёлся совсем, швыряя её о земь на женины прихоти. Всё было не по Макриде Макарьевне: то дом тесен — ставь хоромы; то углы не красны — завесь их коврами узорчатыми; то посуда не люба — подавай золотую да серебряную; то наряды не к лицу — подавай парчи золотые да камки дорогие. А даровал им бог детище желанное, сынка Иванушку, — так чтобы колыбель была диковинная, столбы точёные, на них маковки золочёные. Ну не то, так другое; а бедному Вдовиничу не было ни льготы, ни покоя.

Так бился он с годом трижды три года; не раз заносил он чёрную бабку, чтобы стукнуть о земь

да и сказать: «Бабка, бабка, чёрная лодыжка! унеси ты мою жёнушку в тартарары, во тьму кромешную, чертям на беду, сатане на мученье», да всякий раз у него руки опускались и язык прилипал: жаль ему было жены, красавицы ненаглядной, хотя она и мучила его с утра до вечера; а пуще жаль ему было детища желанного, сынка Иванушки, чтоб он в сиротстве не натерпелся горя. Правду молвить, и сынок Иванушка пошёл по батюшке да по дедушке: на дело не горазд, а всё бы ему гули да гули, всё бы ему рыскать по улице да играть в бабки с соседними ребятишками.

Вот под конец Никита Вдовинич совсем из сил выбился от причуд и свар жениных. Вышел он на широкий двор, ударил бабкой о сыру землю и приговорил: «Бабка, бабка, чёрная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: чтоб у жены моей были полны ларцы золота и полны лари серебра; пусть её тратит на что пожелает, только моего века не заедает. А мне чтоб было ровно на семь лет зелена вина да мёду пьяного, запивать моё горе тяжкое!» Сказано и сделано. Макрида Макарьевна почала без счёту сыпать серебро и золото на свои затеи женские; а Никита Вдови-

нич с утра до вечера у себя в светлице посиживал, да хмельное потягивал, и втянулся так, что у него лицо раздулось, как волынка, глаза стали красны, как у вора, и от него несло сивухой, как из винной бочки. Ведомо и знаемо, что русский человек напивается от двух причин: на радости да с горя; а есть у нас добрые люди, у которых что день — то радость, что день — то горе, либо день при дне радость и горе с перемежкою. У Никиты же Вдовинича было всё горе, да горе, да при горе горе. Ни о чём он не хлопотал, не заботился, на всё смотрел спустя рукава. И то сказать, у горького пьяницы одна заботушка: напиться да выспаться, а после опохмелиться, чтобы снова напиться.

Жёнушка его ненаглядная, Макрида Макарьевна, тою порою творила свою волю и не думала о своём сожителе, а так про себя смекала: «Пусть его с пьянства околеет; мне же руки развяжет». Детищу его желанному, сынку Иванушке, исполнилось двенадцать годков и пошёл тринадцатый; он по-прежнему не знал себе иного дела, кроме того, чтобы воробьёв поддирать да в бабки играть. И нашёл он однажды в батюшкиной светлице под лавкой чёрную бабку, которую Никита Вдовинич спьяна обронил, да и не спохватился: ведь пьяный свечи не поставит, а разве дюжину

повалит. Иванушка рад был своей находке, побежал играть с соседними ребятишками и всё, что на кону ни стояло, как рукой подгребал.

Спустя мало время проявился в Чухломе чёрненький мальчик. Он был чёрен, как жук, лукав, как паук, а сказывался Чётом-Нечетом, бобылём безродным. Такого доки в бабки играть ещё не видывали: всех ребят дочиста обобрал. Вот и взяла Иванушку зависть: «Что-де за выскочка, что всех обыгрывает? Посмотрю, как-то он потянется против моей чёрной бабки!» И схватились они играть вдвоём, рука на руку. Чёрненький мальчик, Чёт-Нечет, бобыль безродный, сперва проиграл Иванушке кона два-три; а после вынул красную бабку с золотой насечкой, так хорошо изукрашену, что, как свет стоит, такой бабки ещё и во сне не видывали и слыхом о ней не слыхивали. Красная бабка как стекло лоснится, ярким цветом в глаза мечется, золотою насечкой как жар горит и всякого на себя поглядеть манит; а чёрненький мальчик, Чёт-Нечет, бобыль безродный, Иванушку ею призаривает и такие речи заговаривает: «Ну-ка ты, Иванушка, буйная головушка, синяя шапка! посмотри, какова моя красная бабка? уж не твоей чёрной чета! Выиграй-ка её у меня, так будешь молодец и на всё удалец; а не выиграешь

— будешь мёрзлый баран, обгорелый чурбан. Лих тебе не видать её, как ушей своих!» Иванушка озлился, чуть бобылю в чёрные кудри не вцепился и так на него забранился: «Ах ты, смоляная рожа, цыганское отродье, материн сын, отцов пасынок! Тебе ль со мной тягаться? я так тебе облуплю, что станут и куры смеяться». — «Ну, что будет, то будет, — молвил вполсмеха чёрненький мальчик, — ставь чёрную бабку, а я поставлю свою красную, да и померяемся, кому первому бить». — «Изволь, коли тебе не жаль своей красной бабки!» — отвечал Иванушка. Только он не в пору расхвастался. Поставили бабки, чёрную да красную, стали мериться на палочке — верх остался за чёрненьким мальчиком. Чёт-Нечет, бобыль безродный, приладился, хвать — и внёс обе бабки. «Моя!» — крикнул он таким голосом, что в ушах задребезжало, кинулся вперёд, схватил чёрную — и мигом не стало ни его, ни чёрной, ни красной бабки. Иванушка с горя побрёл домой; смотрит: отцовских хором как не бывало, а наместо их стоит лачужка, чуть углы держатся, и от ветра пошатывается. Матушка его Макрида Макарьевна сидит да плачет, голосом воет, жалобно причитает, уж не в золотой парче, не в дорогой камке, а просто-запросто в крестьянском

сарафане; батюшка лежит пьяный под лавкою в смуром кафтане. Оглянулся Иванушка на себя — и на нём лохмотье да лапти! Не знал он, не ведал, отчего такая злая доля приключилась? а вся беда неминучая приключилась оттого, что он проиграл заветную чёрную бабку, а выиграл её чертёнок, который подослан был старшими чертями да проклятыми колдунами и сказывался Чётом-Нечетом, бобылём безродным. Так-то от лукавого сатаны, да от сумбурщины жены, да от сынка дурака, да от своего хмеля беспутного, беспросыпного Никита Вдовинич потерял всё: и счастье, и богатство, и людской почёт, да и сам кончил свой живот, ни дать ни взять, как его батюшка, в кабаке под лавкой. Макрида Макарьевна чуть сама на себя руки не наложила и с горя да с бедности исчахла да изныла; а сынок их Иванушка пошёл по миру с котомкой за то, что в пору да вовремя не набрался ума-разума.

Вот вам сказка долгенька, а к ней присловье коротенько: избави боже от злой жены, нерассудливой и причудливой, от пьянства и буянства, от глупых детей и от демонских сетей. Всяк эту сказку читай, смекай да себе на ус мотай.

Владимир Федорович Одоевский (1803–1862)

Городок в табакерке

Папенька поставил на стол табакерку.

— Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка, — сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый — и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

— Что это за городок? — спросил Миша.

— Это городок Динь-Динь, — отвечал папенька и тронул пружинку…

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям — не из другой ли комнаты? и к часам — не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко

выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок протянулись синеватые лучи.

— Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

— Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

— Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…

— Право, мой друг, там и без тебя тесно.

— Да кто же там живёт?

— Кто там живёт? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса… Миша удивился.

— Зачем эти колокольчики? зачем молоточки?

зачем валик с крючками? — спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал:

— Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается.

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке; останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же, — подумал Миша, — папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

— Извольте, с величайшею радостью!

С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик он почёл долгом прежде всего обратить-

ся к своему провожатому.

— Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь говорить?

— Динь-динь-динь, — отвечал незнакомец, — я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды — чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

— Я вам очень благодарен за ваше приглашение, — сказал ему Миша, — но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, — там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

— Динь-динь-динь! — отвечал мальчик. —

Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.

— Отчего это? — спросил он своего проводника.

— Динь-динь-динь! — отвечал проводник смеясь. — Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь — большое.

— Да, это правда, — отвечал Миша. — Я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле

маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

— Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?

— Уж у нас поговорка такая, — отвечал мальчик-колокольчик.

— Поговорка? — заметил Миша. — А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не ска-

зал более ни слова.

Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много, и все мал мала меньше.

— Нет, теперь уж меня не обманут, — сказал Миша. — Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

— Ан вот и неправда, — отвечал провожатый, — колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один, как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает и можно от него кое-чему научиться.

Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между

тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.

— Весело вы живёте, — сказал им Миша, — век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.

— Динь-динь-динь! — закричали колокольчики. — Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья; но мы бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы — ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

— Да, — отвечал Миша, — вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то

к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься — всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

— Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

— Какие же дядьки? — спросил Миша.

— Дядьки-молоточки, — отвечали колокольчики, — уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

— Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

— Какой это у вас надзиратель? — спросил Миша у колокольчиков.

— А это господин Валик, — зазвенели они, — предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша — к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:

— Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры! кто прочь не идёт? кто мне спать не даёт? Шуры-муры! шуры-муры!

— Это я, — храбро отвечал Миша, — я — Миша…

— А что тебе надобно? — спросил надзиратель.

— Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…

— А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков!

Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…

— Ну, многому же я научился в этом городке! — сказал про себя Миша. — Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! — думаю я. — Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

Между тем Миша пошёл далее — и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

— Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

— Зиц-зиц-зиц, — отвечала царевна. — Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не

стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком — и что же?

В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и… проснулся.

— Что во сне видел, Миша? — спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

— Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? — спрашивал Миша. — Так это был сон?

— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по край-

ней мере, что тебе приснилось!

— Да видите, папенька, — сказал Миша, протирая глазки, — мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерке растворилась… — Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

— Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.

Лев Николаевич Толстой (1828–1910)

Работник Емельян и пустой барабан

Жил Емельян у хозяина в работниках. Идёт раз Емельян по лугу на работу, глядь — прыгает перед ним лягушка; чуть-чуть не наступил на неё. Перешагнул через неё Емельян. Вдруг слышит, кличет его кто-то сзади. Оглянулся Емельян, видит — стоит красавица девица и говорит ему:

— Что ты, Емельян, не женишься?

— Как мне, девица милая, жениться? Я весь тут, нет у меня ничего, никто за меня не пойдёт.

И говорит девица:

— Возьми меня замуж!

Полюбилась Емельяну девица.

— Я, — говорит, — с радостью, да где мы жить будем?

— Есть, — говорит девица, — о чём думать! Только бы побольше работать да поменьше спать — а то везде и одеты и сыты будем.

— Ну что ж, — говорит, — ладно. Женимся. Куда ж пойдём?

— Пойдём в город.

Пошёл Емельян с девицей в город. Свела его девица в домишко небольшой, на краю. Женились и стали жить.

Ехал раз царь за город. Проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал её царь, удивился: «Где такая красавица родилась?» Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал её спрашивать:

— Кто, — говорит, — ты?

— Мужика Емельяна жена, — говорит.

— Зачем ты, — говорит, — такая красавица, за мужика пошла? Тебе бы царицей быть.

— Благодарю, — говорит, — на ласковом слове. Мне и за мужиком хорошо.

Поговорил с ней царь и поехал дальше. Вернулся во дворец. Не идёт у него из головы Емельянова жена. Всю ночь не спал, всё думал он, как бы ему у Емельяна жену отнять. Не мог придумать, как сделать. Позвал своих слуг, велел им придумать. И сказали слуги царские царю:

— Возьми ты, — говорят, — Емельяна к себе во дворец в работники. Мы его работой замучаем, жена вдовой останется, тогда её взять можно будет.

Сделал так царь, послал за Емельяном, чтобы шёл к нему в царский дворец, в дворники, и у него во дворе с женой жил.

Пришли послы, сказали Емельяну. Жена и говорит мужу:

— Что ж, — говорит, — иди. День работай, а ночью ко мне приходи.

Пошёл Емельян. Приходит во дворец; царский приказчик и спрашивает его:

— Что ж ты один пришёл, без жены?

— Что ж мне, — говорит, — её водить: у неё дом есть.

Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что двоим впору. Взялся Емельян за работу и не чаял всё кончить. Глядь, раньше вечера всё кончил. Увидал приказчик, что кончил, задал ему на завтра вчетверо.

Пришёл Емельян домой. А дома у него всё выметено, прибрано, печка истоплена, всего напечено, наварено. Жена сидит за станом, ткёт, мужа ждёт. Встретила жена мужа; собрала ужинать, накормила, напоила; стала его про работу спрашивать.

— Да что, — говорит, — плохо: не по силам уроки задают, замучают они меня работой.

— А ты, — говорит, — не думай об работе и назад не оглядывайся, и вперёд не гляди, много ли сделал и много ли осталось. Только работай. Всё вовремя поспеет.

Лёг спать Емельян. Наутро опять пошёл. Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь — к вечеру всё готово, засветло пришёл домой ночевать.

Стали ещё и ещё набавлять работу Емельяну, и всё к сроку кончает Емельян, ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они чёрной работой донять мужика; стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную, и кровельную работу — что ни зададут — всё делает к сроку Емельян, к жене ночевать идёт. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит:

— Или я вас задаром хлебом кормлю? Две недели прошло, а всё ничего я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучить, а я из окна вижу, как он каждый день идёт домой, песни поёт. Или вы надо мной смеяться вздумали?

Стали царские слуги оправдываться.

— Мы, — говорят, — всеми силами старались его сперва чёрной работой замучить, да ничем не возьмёшь его. Всякое дело как метлою метёт, и устали в нём нет. Стали мы ему хитрые работы задавать, думали, у него ума не достанет; тоже не можем донять. Откуда что берётся! До всего доходит, всё делает. Не иначе как либо в нём самом, либо в жене его колдовство есть. Он нам и самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтобы нельзя было ему сделать. Придумали мы ему велеть в один день собор построить. Призо-

ви ты Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит он, тогда можно ему за ослушание голову отрубить.

Послал царь за Емельяном.

— Ну, — говорит, — вот тебе мой приказ: построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтоб к завтрему к вечеру готово было. Построишь — я тебя награжу, а не построишь — казню.

Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошёл домой. «Ну, — думает, — пришёл мой конец теперь». Пришёл домой к жене и говорит:

— Ну, — говорит, — собирайся, жена: бежать надо куда попало, а то ни за что пропадём.

— Что ж, — говорит, — так заробел, что бежать хочешь?

— Как же, — говорит, — не заробеть? Велел мне царь завтра в один день собор построить. А если не построю, грозится голову отрубить. Одно остаётся — бежать, пока время.

Не приняла жена этих речей.

— У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдёшь. А пока сила есть, слушаться надо.

— Да как же слушаться, когда не по силам?

— И… батюшка! не тужи, поужинай да ложись:

наутро вставай пораньше, всё успеешь.

Лёг Емельян спать. Разбудила его жена.

— Ступай, — говорит, — скорей достраивай собор; вот тебе гвозди и молоток: там тебе на день работы осталось.

Пошёл Емельян в город, приходит — точно, новый собор посередь площади стоит. Немного не кончен. Стал доделывать Емельян, где надо: к вечеру всё исправил.

Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит — собор стоит. Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает. И не рад царь собору, досадно ему, что не за что Емельяна казнить, нельзя его жену отнять.

Опять призывает царь своих слуг:

— Исполнил Емельян и эту задачу, не за что его казнить. Мала, — говорит, — и эта ему задача. Надо что похитрей выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его расказню.

И придумали ему слуги, чтобы заказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг дворца, а по ней бы корабли плавали.

Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело.

— Если ты, — говорит, — в одну ночь мог собор построить, так можешь ты и это дело сделать.

Чтобы завтра было всё по моему приказу готово. А не будет готово, голову отрублю.

Опечалился ещё пуще Емельян, пришёл к жене сумрачный.

— Что, — говорит жена, — опечалился, или ещё новое что царь заказал?

Рассказал ей Емельян.

— Надо, — говорит, — бежать.

А жена говорит:

— Не убежишь от солдат, везде поймают. Надо слушаться.

— Да как слушаться-то?

— И… — говорит, — батюшка, ни о чём не тужи. Поужинай да спать ложись. А вставай пораньше, всё будет к поре.

Лёг Емельян спать. Поутру разбудила его жена.

— Иди, — говорит, — ко дворцу, всё готово. Только у пристани, против дворца, бугорок остался; возьми заступ, сровняй.

Пошёл Емельян; приходит в город; вокруг дворца река, корабли плавают. Подошёл Емельян к пристани против дворца, видит — неровное место, стал ровнять.

Проснулся царь, видит — река, где не было; по реке корабли плавают, и Емельян бугорок заступом ровняет. Ужаснулся царь; не рад он и реке

и кораблям, а досадно ему, что нельзя Емельяна казнить. Думает себе: «Нет такой задачи, чтоб он не сделал. Как теперь быть?»

Призвал он слуг своих, стал с ними думать.

— Придумайте, — говорит, — мне такую задачу: чтобы не под силу было Емельяну. А то, что мы ни выдумывали, он всё сделал, и нельзя мне у него жены отобрать.

Думали, думали придворные и придумали. Пришли к царю и говорят:

— Надо Емельяна позвать и сказать: поди туда — не знай куда, и принеси того — не знай чего. Тут уж ему нельзя будет отвертеться. Куда бы он ни пошёл, ты скажешь, что он не туда пошёл, куда надо; и чего бы он ни принёс, ты скажешь, что он не то принёс, чего надо. Тогда его и казнить можно и жену его взять.

Обрадовался царь.

— Это, — говорит, — вы умно придумали.

Послал царь за Емельяном и сказал ему:

— Поди туда — не знай куда, принеси того — не знай чего. А не принесёшь, отрублю тебе голову.

Пришёл Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена.

— Ну, — говорит, — на его голову научили царя. Теперь умно делать надо.

Посидела, посидела, подумала жена и стала говорить мужу:

— Идти тебе надо далеко, к нашей бабушке, к старинной, мужицкой, солдатской матери, надо её милости просить. А получишь от неё штуку, иди прямо во дворец, и я там буду. Теперь уж мне их рук не миновать. Они меня силой возьмут, да только ненадолго. Если всё сделаешь, как бабушка тебе велит, ты меня скоро выручишь.

Собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретёнце.

— Вот это, — говорит, — ей отдай. По этому она узнает, что ты мой муж.

Показала жена ему дорогу. Пошёл Емельян, вышел за город, видит — солдаты учатся. Постоял, посмотрел Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошёл к ним Емельян и спрашивает:

— Не знаете ли, братцы, где идти туда — не знай куда, и как принести того — не знай чего?

Услыхали это солдаты и удивились.

— Кто, — говорят, — тебя послал искать?

— Царь, — говорит.

— Мы сами, — говорят, — вот с самого солдатства ходим туда — не знай куда, да не можем дойти, и ищем того — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить.

Посидел Емельян с солдатами, пошёл дальше. Шёл, шёл, приходит в лес. В лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая, солдатская мать, кудельку прядёт, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит. Увидала старуха Емельяна, закричала на него:

— Чего пришёл?

Подал ей Емельян веретёнце и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчала старуха, стала спрашивать. И стал Емельян рассказывать всю свою жизнь, как он на девице женился, как перешёл в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал и как ему теперь царь велел идти туда — не знай куда, принести того — не знай чего.

Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:

— Дошло, видно, время. Ну, ладно, — говорит, — садись, сынок, поешь.

Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:

— Вот тебе, — говорит, — клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придёшь к морю, увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того,

что тебе нужно.

— Как же я, бабушка, его узнаю?

— А когда увидишь то, чего лучше отца-матери слушают, оно и есть. Хватай и неси к царю. Принесёшь к царю, он тебе скажет, что не то ты принёс, что надо. А ты тогда скажи: «Коли не то, так разбить его надо», — да ударь по штуке по этой, а потом снеси её к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернёшь, и мои слёзы осушишь.

Простился с бабушкой, пошёл Емельян, покатил клубок. Катил, катил — привёл его клубок к морю. У моря город большой. С краю высокий дом. Утром рано проснулся, слышит — отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын.

— Рано ещё, — говорит, — успею.

Слышит — мать с печи говорит:

— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.

Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, что такое гремит и чего сын лучше отца-матери послушался.

Выбежал Емельян, видит — ходит по улице

человек, носит на пузе штуку круглую, бьёт по ней палками. Она-то и гремит; её-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовётся.

— Барабан, — говорят.

— А что же он — пустой?

— Пустой, — говорят.

Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лёг спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришёл домой в свой город. Думал жену повидать, а её уж нет. На другой день её к царю увели.

Пошёл Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришёл, мол, тот, что ходил туда — не знай куда, принёс того — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра прийти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.

— Я, — говорит, — нынче пришёл, принёс, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду.

Вышел царь.

— Где, — говорит, — ты был?

Он сказал.

— Не так, — говорит. — А что принёс?

Хотел Емельян показать, да не стал смотреть царь.

— Не то, — говорит.

— А не то, — говорит, — так разбить её надо.

Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нему. Как ударил, собралось всё войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на своё войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал это царь, велел к Емельяну жену вести и стал просить, чтоб он ему барабан отдал.

— Не могу, — говорит Емельян. — Мне, — говорит, — его разбить велено и в реку бросить.

Подошёл Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пошли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повёл к себе в дом.

И с тех пор царь перестал его тревожить. И стал он жить-поживать, добро наживать, а худо — проживать.

Праведный судья

Один алжирский царь Бауакас захотел сам узнать, правду ли ему говорили, что в одном из его городов есть праведный судья, что он сразу узнаёт правду и что от него ни один плут не может укрыться. Бауакас переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город, где жил судья. У въезда в город к Бауакасу подошёл калека и стал просить милостыню. Бауакас подал ему и хотел ехать дальше, но калека уцепился ему за платье.

— Что тебе нужно? — спросил Бауакас. — Разве я не дал тебе милостыню?

— Милостыню ты дал, — сказал калека, — но ещё сделай милость — довези меня на своей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не раздавили меня.

Бауакас посадил калеку сзади себя и довёз его до площади. На площади Бауакас остановил лошадь. Но нищий не слезал.

Бауакас сказал:

— Что ж сидишь, слезай, мы приехали.

А нищий сказал:

— Зачем слезать, — лошадь моя; а не хочешь добром отдать лошадь, пойдём к судье.

Народ собрался вокруг них и слушал, как они спорили; все закричали:

— Ступайте к судье, он вас рассудит.

Бауакас с калекой пошли к судье. В суде был народ, и судья вызывал по очереди тех, кого судил. Прежде чем черёд дошёл до Бауакаса, судья вызвал учёного и мужика, они судились за жену. Мужик говорил, что это его жена, а учёный говорил, что его жена. Судья выслушал их, помолчал и сказал:

— Оставьте женщину у меня, а сами приходите завтра.

Когда эти ушли, вошли мясник и масленик. Мясник был весь в крови, а масленик в масле. Мясник держал в руке деньги, масленик — руку мясника.

Мясник сказал:

— Я купил у этого человека масло и вынул кошелёк, чтобы расплатиться, а он схватил меня за руку и хотел отнять деньги. Так мы и пришли к тебе, — я держу в руке кошелёк, а он держит меня за руку. Но деньги мои, а он — вор.

А масленик сказал:

— Это неправда. Мясник пришёл ко мне покупать масло. Когда я налил ему полный кувшин, он просил меня разменять ему золотой. Я достал

деньги и положил их на лавку, а он взял их и хотел бежать. Я поймал его за руку и привёл сюда.

Судья помолчал и сказал:

— Оставьте деньги здесь и приходите завтра.

Когда очередь дошла до Бауакаса и до калеки, Бауакас рассказал, как было дело. Судья выслушал его и спросил нищего.

Нищий сказал:

— Это всё неправда. Я ехал верхом через город, а он сидел на земле и просил меня подвезти его. Я посадил его на лошадь и довёз, куда ему нужно было; но он не хотел слезать и сказал, что лошадь его. Это неправда.

Судья подумал и сказал:

— Оставьте лошадь у меня и приходите завтра.

На другой день собралось много народа слушать, как рассудит судья.

Первые подошли учёный и мужик.

— Возьми свою жену, — сказал судья учёному, — а мужику дать пятьдесят палок.

Учёный взял свою жену, а мужика тут же наказали.

Потом судья вызвал мясника.

— Деньги твои, — сказал он мяснику; потом он указал на масленика и сказал: — А ему дать пятьдесят палок.

Тогда позвали Бауакаса и калеку.

— Узнаешь ты свою лошадь из двадцати других? — спросил судья Бауакаса.

— Узнаю.

— А ты?

— И я узнаю, — сказал калека.

— Иди за мною, — сказал судья Бауакасу.

Они пошли в конюшню. Бауакас сейчас же промеж других двадцати лошадей показал на свою.

Потом судья вызвал калеку в конюшню и тоже велел ему указать на лошадь. Калека признал лошадь и показал её.

Тогда судья сел на своё место и сказал Бауакасу:

— Лошадь твоя; возьми её. А калеке дать пятьдесят палок.

После суда судья пошёл домой, а Бауакас пошёл за ним.

— Что же ты, или недоволен моим решением? — спросил судья.

— Нет, я доволен, — сказал Бауакас. — Только хотелось бы мне знать, почему ты узнал, что жена была учёного, а не мужика, что деньги были мясниковы, а не маслениковы и что лошадь была моя, а не нищего?

— Про женщину я узнал вот как: позвал её

утром к себе и сказал ей: «Налей чернил в мою чернильницу». Она взяла чернильницу, вымыла её скоро и ловко и налила чернил. Стало быть, она привыкла это делать. Будь она жена мужика, она не сумела бы этого сделать. Выходит, что учёный был прав. Про деньги я узнал вот как: положил я деньги в чашку с водой и сегодня утром посмотрел — всплыло ли на воде масло. Если бы деньги были маслениковы, то они были бы запачканы его маслеными руками. На воде масла не было, стало быть, мясник говорит правду. Про лошадь узнать было труднее. Калека так же, как и ты, из двадцати лошадей сейчас же указал на лошадь. Да я не для того приводил вас обоих в конюшню, чтобы видеть, узнаете ли вы лошадь, а для того, чтобы видеть — кого из вас двоих узнает лошадь. Когда ты подошёл к ней, она обернула голову, потянулась к тебе; а когда калека тронул её, она прижала уши и подняла ногу. По этому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади.

Тогда Бауакас сказал:

— Я не купец, а царь Бауакас. Я приехал сюда, чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912)

Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку
Присказка

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешенье, молодым людям на поученье, а малым ребятам на послушанье. Из сказки слова не выкинешь, а что было, то и быльём поросло. Только бежал мимо косой заяц — послушал длинным ухом, летела мимо жар-птица — посмотрела огненным глазом… Шумит-гудит зелёный лес, расстилается шёлковым ковром трава-мурава с лазоревыми цветками, поднимаются к небу каменные горы, льются с гор быстрые реки, бегут по синю морю кораблики, а по тёмному лесу на добром коне едет могуч русский богатырь, едет путём-дорогою, чтобы добыть разрыв-траву, которой открывается счастье богатырское. Ехал-ехал богатырь и доехал до росстани, где сбежались три пути-дороженьки. По какой ехать? Поперёк одной лежит дубовая колода, на другой стоит берёзовый пень, а по третьей ползёт маленький

червячок-светлячок. Нет дальше ходу богатырю.

— Чур меня! — крикнул он на весь дремучий лес. — Отвались от меня нечистая сила…

От этого покрика богатырского с хохотом вылетел из берёзового дупла сыч, дубовая колода превратилась в злую ведьму и полетела за сычом, засвистели над богатырской головой чёрные вороны…

— Чур меня!..

И вдруг всё пропало, сгинуло. Остался на дороге один червячок-светлячок, точно кто потерял дорогой камень-самоцвет.

— Ступай прямо! — крикнула из болота лягушка. — Ступай, да только не оглядывайся, а то худо будет…

Поехал богатырь прямо, а впереди поляна, а на поляне огненными цветами цветут папоротники. За поляной, как зеркало, блестит озеро, а в озере плавают русалки с зелёными волосами и смеются над богатырём девичьим смехом:

— У нас, богатырь, разрыв-трава! У нас твоё счастье…

Задумался могучий богатырь, остановился добрый конь. Впрочем, что же это я вам рассказываю, малые ребятки? — это только присказка, а сказка впереди.

I

Жил-был, поживал славный царь Горох в своём славном царстве гороховом. Пока был молод царь Горох, больше всего он любил повеселиться. День и ночь веселился, и все другие веселились с ним.

— Ах, какой у нас добрый царь Горох! — говорили все.

А славный царь Горох слушает, бородку поглаживает, и ещё ему делается веселее. Любил царь Горох, когда его все хвалили.

Потом любил царь Горох повоевать с соседними королями и другими славными царями. Сидит-сидит, а потом и скажет:

— А не пойти ли нам на царя Пантелея? Что-то он как будто стал зазнаваться на старости лет… Надо его проучить.

Во`йска у царя Гороха было достаточно, воеводы были отличные, и все были рады повоевать. Может быть, и самих побьют, а всё-таки рады. Счастливо воевал царь Горох и после каждой войны привозил много всякого добра — и золотой казны, и самоцветных каменьев, и шёлковых тканей, и пленников. Он ничем не брезговал и брал дань всем, что попадало под руку: мука — подавай сюда и муку: дома пригодится; корова

— давай и корову, сапоги — давай и сапоги, масло — давай масло в кашу. Даже брал царь Горох дань лыком и веником. Чужая каша всегда слаще своей и чужим веником лучше париться.

Все иностранные короли и славные цари завидовали удаче царя Гороха, а главное, его весёлому характеру. Царь Пантелей, у которого борода была до колен, говорил прямо:

— Хорошо ему жить, славному царю Гороху, когда у него весёлый характер. Я отдал бы половину своей бороды, если бы умел так веселиться.

Но совсем счастливых людей не бывает на свете. У каждого найдётся какое-нибудь горе. Ни подданные, ни воеводы, ни бояре не знали, что у весёлого царя Гороха тоже есть своё горе, да ещё не одно, а целых два горя. Знала об этом только одна жена царя Гороха, славная царица Луковна, родная сестра царя Пантелея. Царь и царица от всех скрывали своё горе, чтобы народ не стал смеяться над ними. Первое горе заключалось в том, что у славного царя Гороха на правой руке было шесть пальцев. Он таким родился, и это скрывали с самого детства, так что славный царь Горох никогда не снимал с правой руки перчатки. Конечно, шестой палец — пустяки, можно жить и с шестью пальцами, а беда в том, что благо-

даря этому шестому пальцу царю Гороху всего было мало. Он сам признавался своей царице Луковне:

— Кажется, взял бы всё на свете одному себе… Разве я виноват, что у меня так рука устроена?

— Что же, бери, пока дают, — утешала его царица Луковна. — Ты не виноват. А если добром не отдают, так можно и силой отнять.

Царица Луковна во всём и всегда соглашалась с своим славным царём Горохом. Воеводы тоже не спорили и верили, что воюют для славы, отбирая чужую кашу и масло. Никто и не подозревал, что у славного царя Гороха шесть пальцев на руке и что он из жадности готов был отнять даже бороду у царя Пантелея, тоже славного и храброго царя.

II

Второе горе славного царя Гороха было, пожалуй, похуже. Дело в том, что первым у славного царя Гороха родился сын, славный и храбрый царевич Орлик, потом родилась прекрасная царевна Кутафья неописанной красоты, а третьей родилась маленькая-маленькая царевна Горошинка, такая маленькая, что жила в коробочке, в которой раньше славная царица Луковна прятала свои серёжки. Маленькой царевны Горо-

шинки решительно никто не видал, кроме отца с матерью.

— Что мы с ней будем делать, царица? — спрашивал в ужасе славный царь Горох. — Все люди родятся, как люди, а наша дочь с горошинку…

— Что же делать — пусть живёт… — печально отвечала царица.

Даже царевич Орлик и прекрасная царевна Кутафья не знали, что у них есть сестра Горошинка. А мать любила свою Горошинку больше, чем других детей, — тех и другие полюбят, а эта мила только отцу с матерью.

Царевна Горошинка выросла ростом в горошинку и была так же весела, как отец. Её трудно было удержать в коробочке. Царевне хотелось и побегать, и поиграть, и пошалить, как и другим детям. Царица Луковна запиралась в своей комнате, садилась к столу и открывала коробочку. Царевна Горошинка выскакивала и начинала веселиться. Стол ей казался целым полем, по которому она бегала, как другие дети бегают по настоящему полю. Мать протянет руку, и царевна Горошинка едва вскарабкается на неё. Она любила везде прятаться, и мать, бывало, едва её найдёт, а сама боится пошевелиться, чтобы, грешным делом, не раздавить родного детища.

Приходил и славный царь Горох полюбоваться на свою царевну Горошинку, и она пряталась у него в бороде, как в лесу.

— Ах, какая она смешная! — удивлялся царь Горох, качая головой.

Маленькая царевна Горошинка тоже удивлялась. Какое всё большое кругом — и отец с матерью, и комнаты, и мебель! Раз она забралась на окно и чуть не умерла от страха, когда увидела бежавшую по улице собаку. Царевна жалобно запищала и спряталась в напёрсток, так что царь Горох едва её нашёл.

Всего хуже было то, что как царевна Горошинка стала подрастать, — ей хотелось всё видеть и всё знать. И то покажи ей, и другое, и третье… Пока была маленькой, так любила играть с мухами и тараканами. Игрушки ей делал сам царь Горох — нечего делать, хоть и царь, а мастери для дочери игрушки. Он так выучился этому делу, что никто другой в государстве не сумел бы сделать такую тележку для царевны Горошинки или другие игрушки. Всего удивительнее было то, что мухи и тараканы тоже любили маленькую царевну, и она даже каталась на них, как большие люди катаются на лошадях. Были, конечно, и свои неприятности. Раз царевна Горошинка упросила

мать взять её с собой в сад.

— Только одним глазком взглянуть, матушка, какие сады бывают, — упрашивала царевна Горошинка. — Я ничего не сломаю и не испорчу…

— Ах, что я с ней буду делать? — взмолилась царица Луковна.

Однако пошли в сад. Царь Горох стоял настороже, чтобы кто-нибудь не увидал царевны Горошинки, а царица вышла на дорожку и выпустила из коробочки свою дочку. Ужасно обрадовалась царевна Горошинка и долго резвилась на песочке и даже спряталась в колокольчике. Но эта игра чуть не кончилась бедой. Царевна Горошинка забралась в траву, а там сидела толстая, старая лягушка — увидела она маленькую царевну, раскрыла пасть и чуть не проглотила её, как муху. Хорошо, что вовремя прибежал сам славный царь Горох и раздавил лягушку ногой.

III

Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется весёлым всегда, а вышло не так. Когда родилась царевна Горошинка, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех старился славный царь Горох. Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввали-

лись, руки начали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох, а с ним вместе приуныло и всё гороховое царство. Да и было отчего приуныть: состарившийся царь Горох сделался подозрительным, всюду видел измену и никому не верил, даже самым любимым боярам и воеводам.

— Никому не верю! — говорил царь Горох им в глаза. — Все вы готовы изменить мне при первом удобном случае, а за спиной, наверно, смеётесь надо мной… Всё знаю!.. Лучше и не оправдывайтесь.

— Помилуй, славный царь Горох! — взмолились бояре и воеводы. — Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать… Все тебя любят, славный царь Горох, и все готовы жизнь свою отдать за тебя.

— Знаю, знаю. Правые люди не будут оправдываться. Вы только то и делаете, что ждёте моей смерти.

Все начали бояться славного царя Гороха. Такой был весёлый царь, а тут вдруг точно с печи упал — и узнать нельзя. И скуп сделался царь Горох, как Кащей. Сидит и высчитывает, сколько добра у него съели и выпили гости да, кроме того, сколько ещё разных подарков получили. И обид-

но старику, что столько добра пущено на ветер, и жаль своей царской казны. Начал царь Горох всех притеснять, каждую денежку высчитывать и даже по утрам сидел в кухне, смотрел, как варят ему щи, чтобы повара не растащили провианта.

— Воры вы все! — корит царь Горох своих поваров. — Только отвернись, вы всю говядину из горшка повытаскаете, а мне одну жижу оставите.

— Смилуйся, царь-государь! — вопили повара и валялись у царя Гороха в ногах. — Да как мы посмеем таскать твою говядину из горшков…

— Знаю, знаю. У меня всё царство вор на воре — вором погоняет.

Дело дошло до того, что славный царь Горох велел при себе и хлеб резать, и сам считал куски, и даже коров доить стал, чтобы не выпили царского молока неверные слуги. Всем пришлось плохо, даже царица Луковна — и та голодала. Плачет, а попросить куска хлеба не смеет у царя. Исхудала, бедная, и только одному радовалась, что ровно ничего не стоило прокормить любимую дочь Горошинку. Царевна Горошинка была сыта крошечками…

«Испортили царя! — думали все. — Какой-нибудь колдун испортил, не иначе дело. Долго ли

испортить всякого человека… А какой был у нас славный да весёлый царь!..»

А славный царь Горох с каждым днём делался всё хуже и злее. Начал он людей по тюрьмам сажать, а других прямо казнил. Ходят по всему гороховому царству немилостивые царские пристава, ловят людей и казнят. Чтобы услужить царю Гороху, они выбирали самых богатых, чтобы их именье пошло в царскую казну.

— Однако сколько у меня развелось изменников! — удивляется славный царь Горох. — Это они у меня столько всякого добра наворовали… А я-то по простоте ничего и не замечаю. Ещё бы немного, так я бы сам с голоду помер…

IV

С каждым днём славный царь Горох делался всё хуже и хуже, а народ всё искал, кто его испортил. Искали-искали и наконец нашли. Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафья. Да, она самая… Нашлись люди, которые уверяли, что своими глазами видели, будто она вылетала из дворца, обернувшись сорокой, а то ещё хуже — бегала по городу мышью и подслушивала, кто и что болтает про царя. От неё, дескать, и всё зло по гороховому царству пошло.

Доказательства были все налицо: славный царь Горох любил только одну прекрасную царевну Кутафью. Он даже прогнал всех своих поваров, а главного повесил перед кухней, и теперь царское кушанье готовила одна прекрасная царевна Кутафья. Ей только одной верил теперь царь Горох и никому больше.

— Что нам делать теперь? — жаловались все друг другу. — Домашний враг сильнее всех… Погубит прекрасная царевна Кутафья всё царство. Некуда нам деваться от колдуньи…

Впрочем, оставалась ещё одна, последняя, надежда. О красоте царевны Кутафьи прошла слава по всем землям, и к царю Гороху наезжали женихи со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывала. Все нехороши женихи. Но ведь надоест же когда-нибудь ей в девках сидеть, выйдет она замуж, и тогда все вздохнут свободно. Думали, судили, рядили, передумывали, а прекрасная царевна Кутафья и думать ничего не хотела о женихе. Последним наехал к царю Гороху молодой король Косарь, красавец и богатырь, каких поискать, но и он получил отказ, то есть отказал ему сам царь Горох.

— Королевство у тебя маловато, король Косарь, — заявил ему славный царь Горох, погла-

живая бородку. — Еле-еле сам сыт, а чем жену будешь кормить?

Обиделся король Косарь, сел на своего коня и сказал на прощанье царю Гороху:

— Из маленького королевства может вырасти и большое, а из большого царства ничего не останется. Отгадай, что это значит?

Славный царь Горох только посмеялся над хвастовством короля Косаря: молод-де ещё, на губах молоко не обсохло!

Царевны, прекрасной Кутафьи, отец даже не спросил, нравится ей жених или не нравится. Не девичье это дело женихов разбирать — отец с матерью лучше знают, кому отдать родное детище.

Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой король Косарь, и горько плакала. Пришёлся ей к самому сердцу красавец король, да, видно, ничего против воли родительской не поделаешь. Всплакнула и царица Луковна, жалеючи дочь, а сама и пикнуть не смела перед царём.

Не успел славный царь Горох оглянуться, как король Косарь принялся разгадывать свою загадку. Первым делом он пошёл войной на царя Пантелея, начал брать города и избил несчётное число народа. Испугался царь Пантелей и стал

просить помощи у царя Гороха. Раньше они ссорились, а иной раз и воевали, но в беде некогда разбирать старых счётов. Однако славный царь Горох опять погордился и отказал.

— Управляйся, как знаешь, — сказал он через послов царю Пантелею. — Всякому своя рубашка ближе к телу.

Не прошло и полугода, как прибежал и сам царь Пантелей. У него ничего не осталось, кроме бороды, а его царством завладел король Косарь.

— Напрасно ты мне не помог, — укорял он царя Гороха. — Вместе-то мы его победили бы, а теперь он меня разбил и тебя разобьёт.

— Это мы ещё увидим, а твой Косарь — молокосос…

V

Завоевав царство Пантелея, король Косарь послал к славному царю Гороху своих послов, которые и сказали:

— Отдай нашему храброму королю Косарю свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, а то тебе будет то же, что царю Пантелею.

Рассердился царь Горох и велел казнить Косаревых послов, а самому королю Косарю послал собаку с отрубленным хвостом. Вот, дескать, тебе

самая подходящая невеста…

Рассердился и король Косарь и пошёл войной на гороховое царство, идёт — и народ, словно косой, косит. Сколько сёл разорил, сколько городов выжег, сколько народу погубил, а воевод, которых выслал против него царь Горох, в полон взял. Долго ли, коротко ли сказка сказывается, а только король Косарь подступил уже к самой столице, обложил её кругом, так что никому ни проходу, ни проезду нет, и опять шлёт послов к славному царю Гороху.

— Отдай замуж свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, нашему королю Косарю, — говорят послы. — Ты первых послов казнил и нас можешь казнить. Мы люди подневольные.

— Лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю! — ответил царь Горох. — Пусть сам берёт, если сумеет только взять… Я ведь не царь Пантелей.

Хотел славный царь Горох и этих послов казнить, да за них вовремя заступилась сама прекрасная царевна Кутафья. Бросилась она в ноги грозному отцу и начала горько плакать:

— Лучше меня вели казнить, отец, а эти люди не виноваты… Сними с меня голову, только не губи других. Из-за меня, несчастной, напрасно

льётся кровь и гибнут люди…

— Вот как? Отлично… — ответил славный царь Горох. — Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо, доченька… Может быть, тебе хочется замуж за короля Косаря? Ну, этого ты не дождёшься! Всё царство загублю, а тебе не бывать за Косарём…

Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь и велел посадить её в высокую-высокую башню, где томились и другие заключённые, а в подвал были посажены Косаревы послы. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, чтобы ругать опальную царевну.

— Отдай нам наши города, взятые королём Косарём! — кричали ей снизу потерявшие от горя голову люди. — Отдай всех, которых убил король Косарь! Из-за тебя мы и сами перемрём все голодной смертью… Ты испортила и своего отца, который раньше не был таким.

Страшно делалось прекрасной царевне Кутафье, когда она слышала такие слова. Ведь её разорвали бы на мелкие части, если бы она вышла из башни. А чем она виновата? Кому она сделала какое зло? Вот и родной отец её возненавидел ни за что… Горько и обидно делается царевне, и горько-горько она плачет, день и ночь

плачет.

— И для чего я только уродилась красавицей? — причитывала она, ломая руки. — Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой и горбатой… А теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец!..

А в столице уже начинался голод. Голодные люди приходили к башне и кричали:

— Прекрасная царевна Кутафья, дай нам хлеба! Мы умираем с голоду. Если нас не жалеешь, то пожалей наших детей.

VI

Жалела прекрасную царевну Кутафью одна мать. Знала она, что дочка ни в чём не виновата. Все глаза выплакала старая царица Луковна, а мужу ничего не смела сказать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донёс царю. Материнское горе видела одна царевна Горошинка и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чём плачет. Очень ей жаль было матери — такая большая женщина и так плачет.

— Мама, скажи, о чём ты плачешь? — спрашивала она. — Ты только скажи, а я попрошу отца… Он всё устроит.

— Ах, ты ничего не понимаешь, Горошинка!

Царица Луковна и не подозревала, что Горошинка знала гораздо больше, чем она думала. Ведь это был необыкновенный ребёнок. Горошинке улыбались цветы, она понимала, о чём говорят мухи, а когда выросла большой, то есть ей исполнилось семнадцать лет, с Горошинкой произошло нечто совершенно необыкновенное, о чём она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть — и Горошинка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. Это было очень интересно. Горошинка пользовалась тем временем, когда мать спала, и вылетала в окно мухой. Она облетела всю столицу и всё рассмотрела. Когда отец заключил прекрасную Кутафью в башню, она пролетела и к ней. Царевна Кутафья сидела у окна и горько-горько плакала. Муха-Горошинка полетала около неё, пожужжала и наконец проговорила:

— Не убивайся, сестрица. Утро вечера мудренее…

Царевна Кутафья страшно перепугалась. К ней никого не допускали, а тут вдруг человеческий голос.

— Это — я, твоя сестрёнка Горошинка.

— У меня нет никакой сестрицы…

— А я-то — на что?

Горошинка рассказала о себе всё, и сёстры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царевна Кутафья смущалась только одним: именно, что маленькая сестрёнка Горошинка умеет превращаться в муху. Значит, она колдунья, а все колдуньи злые.

— Нет, я не колдунья, — объясняла обиженная Горошинка. — А только заколдована кем-то, и на мне положен какой-то зарок, а какой зарок — никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку, а что — не знаю.

Прекрасная царевна Кутафья рассказала о всех своих злоключениях: как она жалела отца, который сделался злым, а потом сколько горя из-за неё терпит теперь всё гороховое царство. А чем она виновата, что король Косарь непременно хочет жениться на ней? Он даже и не видал её ни разу.

— А тебе он нравится, сестрица? — лукаво спросила Горошинка.

Прекрасная царевна Кутафья только опустила глаза и покраснела.

— Раньше нравился… — объяснила она со смущением. — А теперь я его не люблю. Он — злой…

— Хорошо. Понимаю. Ну, утро вечера мудре-

нее…

VII

Всё гороховое царство было встревожено. Во-первых, царевич Орлик попался в плен злому королю Косарю, а во-вторых, исчезла из башни прекрасная царевна Кутафья. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафьи, а её и след простыл. Ещё больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица, сидит и не шелохнётся.

— Ты как сюда попала? — удивились тюремщики.

— А так… Вот пришла и сижу.

И девица какая-то особенная — горбатая да рябая, а на самой надето платьишко худенькое, всё в заплатках. Пришли тюремщики в ужас:

— Что ты наделала-то, умница? Ведь расказнит нас славный царь Горох, что не уберегли мы прекрасной царевны Кутафьи…

Побежали во дворец и объявили всё. Прибежал в башню сам славный царь Горох — так бежал, что и шапку дорогой потерял.

— Всех казню! — кричал он.

— Царь-государь, смилуйся! — вопили тюремщики, валяясь у него в ногах. — Что хочешь

делай, а мы не виноваты. Видно, посмеялась над нами, бедными, прекрасная царевна Кутафья…

Посмотрел славный царь Горох на рябую девицу, которая как ни в чём не бывало сидела у окошка, и подивился не меньше тюремщиков.

— Да ты откуда взялась-то, красота писаная? — строго спросил он.

— А так… Где была, там ничего не осталось.

Удивляется славный царь Горох, что так смело отвечает ему рябая девица и нисколько его не боится.

— А ну-ка, повернись… — сказал он, удивляясь.

Как поднялась девица, все увидели, что она хромая, а платьишко на ней едва держится — заплата на заплате!

«Этакую ворону и казнить даже не стоит», — подумал славный царь Горох.

Собрались тюремщики, тоже смотрят и тоже дивуются.

— Как тебя звать-то, красавица? — спросил царь Горох.

— А как нравится, так и зови… Прежде звали Босоножкой.

— А ты меня не боишься?

— Чего мне тебя бояться, когда ты добрый… Так и все говорят: какой у нас добрый царь Горох!

Много всяких чудес насмотрелся царь Горох, а такого чуда не видывал. Прямо в глаза смеётся над ним мудрёная девица. Задумался славный царь Горох и даже не пошёл домой обедать, а сам остался караулить в башне. Тюремщиков заковали в цепи и отвели в другую тюрьму. Не умели ухранить царской дочери, так пусть сами сидят…

— Скажите царице Луковне, чтобы послала мне сюда щей и каши, — приказал царь Горох. — А я сам буду сторожить. Дело нечисто…

А царица Луковна убивалась у себя во дворце. Плачет, как река льётся. Сына в полон взял злой король Косарь, прекрасная дочь Кутафья исчезла, а тут ещё пропала царевна Горошинка. Искала-искала её царица по всем комнатам — нет нигде Горошинки.

«Видно, её мышь загрызла или воробей заклевал», — думала царица Луковна и ещё больше плакала.

VIII

В столице славного царя Гороха и стон, и плач, и горе, а злой король Косарь веселится в своём стане. Чем хуже славному царю Гороху, тем веселее злому королю Косарю. Каждое утро злой

король Косарь пишет письмо, привязывает его к стреле и пускает в город. Его последнее письмо было такое:

«Эй ты, славный царь Горох, немного у тебя закуски осталось, — приходи ко мне, я тебя накормлю. Царю Пантелею я хоть бороду оставил, а у тебя и этого нет — у тебя не борода, а мочалка».

Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости.

Весь народ, сбежавшийся к столице, страшно голодал. Люди умирали от голода прямо на улице. Теперь уже никто не боялся славного царя Гороха — всё равно умирать. Голодные люди приходили прямо к башне, в которой заперся царь Горох, и ругали его:

— Вот, старый колдун караулит ведьму-дочь… Сжечь их надо, а пепел пустить по ветру. Эй, Горох, выходи лучше добром!

Слушает все эти слова царь Горох и плачет. Зачем он злился и притеснял всех? Пока был добрый — всё было хорошо. Гораздо выгоднее быть добрым. Догадался царь Горох, как следовало жить, да поздно. А тут ещё рябая девица сидит у окошечка и поёт:

Жил да поживал славный царь Горох,

Победить его никто не мог…
А вся сила в том была,
Что желал он всем добра.

— Правда, правда… — шептал царь Горох, обливаясь слезами.

Потом мудрёная девица сказала ему:

— Вот что, славный царь Горох… Не ты меня держишь в башне, а я тебя держу. Понял? Ну, так довольно… Нечего тебе здесь больше делать. Ступай-ка домой — царица Луковна очень соскучилась о тебе. Как придёшь домой — собирайся в дорогу. Понял? А я приду за вами…

— Как же я пойду — меня убьют дорогой.

— Никто не убьёт. Вот я тебе дам пропуск…

Оторвала девица одну заплатку от своего платья и подала царю. И действительно, дошёл царь Горох до самого дворца, и никто его не узнал, даже свои дворцовые слуги. Они даже не хотели его пускать во дворец. Славный царь Горох хотел было рассердиться и тут же всех их казнить, да вовремя припомнил, что добрым быть куда выгоднее. Сдержался царь Горох и сказал слугам:

— Мне бы только увидать царицу Луковну. Всего одно словечко сказать…

Слуги смилостивились и допустили старика

к царице. Когда он шёл в царские покои, они сказали ему одно:

— Царица у нас добрая, смотри не вздумай просить у неё хлеба. Она и сама через день теперь ест. А всё из-за проклятого царя Гороха…

Царица Луковна узнала мужа сразу и хотела броситься к нему на шею, но он сделал ей знак и шепнул:

— Бежим скорее. После всё расскажу.

Сборы были короткие — что можно унесли в руках. Царица Луковна взяла только одну пустую коробочку, в которой жила Горошинка. Скоро пришла и Босоножка и повела царя с царицей. На улице догнал их царь Пантелей и со слезами заговорил:

— Что же это вы меня одного оставляете?

— Ну идём с нами… — сказала Босоножка. — Веселее вместе идти.

IX

Король Косарь стоял под столицей царя Гороха уже второй год и не хотел брать город приступом, чтобы не губить напрасно своих королевских войск. Всё равно сами сдадутся, когда «досыта наголодаются».

От нечего делать веселится злой король Косарь

в своей королевской палатке. Веселится и днём, веселится и ночью. Горят огни, играет музыка, поют песни… Всем весело, только горюют одни пленники, которых охраняет крепкая королевская стража. А среди всех этих пленников больше всех горюет царевич Орлик, красавец Орлик, о котором тосковали все девушки, видавшие его хотя бы издали. Это был орлёнок, выпавший из родного гнезда. Но приставленная к царевичу стража стала замечать, что каждое утро прилетает откуда-то белобокая сорока и что-то долго стрекочет по-своему, по-сорочьему, а сама так и вьётся над землянкой, в которой сидел пленный царевич. Пробовали стрелять в неё, но никто попасть не мог.

— Это какая-то проклятая птица! — решили все.

Как ни веселился король Косарь, а надоело ему ждать покорности. Послал он в осаждённый город стрелу с письмом, а в письме написал царю Гороху, что если города ему не сдадут, то завтра царевич Орлик будет казнён. Ждал король Косарь ответа до самого вечера, да так и не получил его. И в столице не знал ещё никто, что славный царь Горох бежал.

— Завтра казнить царевича Орлика! — прика-

зал король Косарь. — Надоело мне ждать. Всех буду казнить, кто только попадётся мне в руки. Пусть помнят, какой был король Косарь!

К утру всё было готово для казни. Собралось всё королевское войско смотреть, как будут казнить царевича Орлика. Вот уже загудели уныло трубы, и сторожа вывели царевича. Молодой красавец не трусил, а только с тоской смотрел на родную столицу, стены которой были усыпаны народом. Там уже было известно о казни царевича.

Король Косарь вышел из палатки и махнул платком — это значило, что прощения не будет. Но как раз в это время налетела сорока, взвилась над землянкою пленного царевича и страшно затрещала. Она вилась над самой головой короля Косаря.

— Что это за птица? — рассердился король Косарь.

Придворные бросились отгонять птицу, а она так и лезет — кого в голову клюнет, кого в руку, а кому прямо в глаз норовит попасть. И придворные рассердились. А сорока села на золотую маковку королевской палатки и точно всех дразнит. Начали в неё стрелять, и никто попасть не может.

— Убейте её! — кричит король Косарь. — Да

нет, куда вам… Давайте мне мой лук и стрелы. Я покажу вам, как нужно стрелять…

Натянул король Косарь могучей рукой тугой лук, запела оперённая лебединым пером стрела, и свалилась с маковки сорока. Тут у всех на глазах свершилось великое чудо. Когда подбежали поднять убитую сороку, на земле лежала с закрытыми глазами девушка неописанной красоты. Все сразу узнали в ней прекрасную царевну Кутафью. Стрела попала ей прямо в левую руку, в самый мизинец. Подбежал сам король Косарь, припал на колени и в ужасе проговорил:

— Девица-краса, что ты со мной сделала?

Раскрылись чудные девичьи глаза, и прекрасная царевна Кутафья ответила:

— Не вели казнить брата Орлика…

Король Косарь махнул платком, а стража, окружающая царевича, расступилась.

X

Ведёт Босоножка двух царей да царицу Луковну, а они идут да ссорятся. Всё задирает царь Пантелей.

— Ах, какое у меня отличное царство было!.. — хвастается он. — Такого другого царства и нет…

— Вот и врёшь, царь Пантелей! — спорит Го-

рох. — Моё было не в пример лучше…

— Нет, моё!..

— Нет, моё!..

Как ни старается царь Горох сделаться добрым, а никак не может. Как тут будешь добрым, когда царь Пантелей говорит, что его царство было лучше?

Опять идут.

— А сколько у меня всякого добра было! — говорит царь Пантелей. — Одной казны не пересчитаешь. Ни у кого столько не было.

— Опять врёшь! — говорит царь Горох. — У меня и добра и казны было больше.

Идут цари и ссорятся. Царица несколько раз дёргала царя Гороха за рукав и шептала:

— Перестань, старик… Ведь ты же хотел быть добрым?

— А ежели царь Пантелей мешает мне быть добрым? — сердится славный царь Горох.

Всякий думает о своём, а царица Луковна — всё о детях. Где-то красавец царевич Орлик? Где-то прекрасная царевна Кутафья? Где-то царевна Горошинка? Младшей дочки было ей больше всего жаль. Поди, и косточек не осталось от Горошинки… Идёт царица и потихоньку вытирает материнские слёзы рукавом.

А цари отдохнут и опять спорят. Спорили-спорили, чуть не подрались. Едва царица Луковна их разняла.

— Перестаньте вы грешить, — уговаривала она их. — Оба лучше… Ничего не осталось, так и хвалиться нечем.

— У меня-то осталось! — озлился славный царь Горох. — Да, осталось… Я и сейчас богаче царя Пантелея.

Рассердился царь Горох, сдёрнул перчатку с правой руки, показал царю Пантелею свои шесть пальцев и говорит:

— Что, видел? У тебя пять пальцев всего, а у меня целых шесть — вот и вышло, что я тебя богаче.

— Эх ты, нашёл чем хвалиться! — засмеялся царь Пантелей. — Уж если на то пошло, так у меня одна борода чего стоит…

Долго спорили цари, опять чуть не подрались, но царь Пантелей изнемог, присел на кочку и заплакал. Царю Гороху сделалось вдруг совестно. Зачем он хвастался своими шестью пальцами и довёл человека до слёз?

— Послушай, царь Пантелей… — заговорил он. — Послушай… брось!..

— Никак не могу бросить, царь Горох.

— Да ты о чём!

— А я есть хочу. Лучше уж было остаться в столице или идти к злому королю Косарю. Все равно помирать голодною смертью…

Подошла Босоножка и подала царю Пантелею кусок хлеба. Съел его царь Пантелей да как закричит:

— А что же ты, такая-сякая, щей мне не даёшь?!. По-твоему, цари всухомятку должны есть? Да я тебя сейчас изничтожу…

— Перестань, нехорошо… — уговаривал царь Горох. — Хорошо, когда и кусок хлебца найдётся.

XI

Долго ли, коротко ли вздорили цари между собой, потом мирились, потом опять вздорили, а Босоножка идёт себе впереди, переваливается на кривых ногах да черёмуховой палкой подпирается.

Царица Луковна молчала — боялась, чтобы не было погони, чтобы не убили царя Гороха, а когда ушли подальше и опасность миновала, она стала думать другое. И откуда взялась эта самая Босоножка? И платьишко на ней рваное, и сама она какая-то корявая да ещё к тому же хромая. Не нашёл царь Горох девицы хуже. Такой-то уродины и

близко бы к царскому дворцу не пустили. Начала царица Луковна посерживаться и спрашивает:

— Эй ты, Босоножка, куда это ты нас ведёшь?

Цари тоже перестали спорить и тоже накинулись на Босоножку:

— Эй ты, кривая нога, куда нас ведёшь?

Босоножка остановилась, посмотрела на них и только улыбнулась. А цари так к ней и подступают: сказывай, куда завела?

— А в гости веду… — ответила Босоножка и ещё прибавила: — Как раз к самой свадьбе поспеем.

Тут уж на неё накинулась сама царица Луковна и начала её бранить. И такая и сякая — до свадьбы ли теперь, когда у всякого своего горя не расхлебаешь. В глаза смеётся Босоножка над всеми.

— Ты у меня смотри! — грозилась царица Луковна. — Я шутить не люблю.

Ничего не сказала Босоножка, а только показала рукой вперёд. Теперь все увидели, что стоит впереди громадный город, с каменными стенами, башнями и чудными хоромами. Перед городом раскинут стан и несметное войско. Немного струсили цари и даже попятились назад, а потом царь Пантелей сказал:

— Э, всё равно, царь Горох! Пойдём… Чему быть — того не миновать, а может, там и покормят.

Очень уж я о щах стосковался…

Царь Горох тоже не прочь был закусить, да и царица Луковна проголодалась.

Нечего делать, пошли. Никто и не думает даже, какой это город и чей стан раскинут. Царь Горох идёт и корит себя, зачем он хвастался пред царём Пантелеем своими шестью пальцами, — болтлив царь Пантелей и всем расскажет. А царица Луковна начала прихорашиваться и сказала Босоножке:

— Иди-ка ты, чумичка, позади нас, а то ещё осрамишь перед добрыми людьми…

Идут дальше. А их уже заметили на стану. Валит навстречу народ, впереди скачут вершники. Приосанились оба царя, а царь Пантелей сказал:

— Ну, теперь дело не одними щами пахнет, а и кашей с киселём… Очень уж я люблю кисель!..

Смотрит царица Луковна и своим глазам не верит. Едет впереди на лихом коне сам красавец царевич Орлик и машет своей шапкой. А за ним едет, тоже на коне, прекрасная царевна Кутафья, а рядом с ней едет злой король Косарь.

— Ну, теперь, кажется, вышла каша-то с маслом… — забормотал испугавшийся царь Пантелей и хотел убежать, но его удержала Босоножка.

Подъехали все, и узнал славный царь Горох

родных детей.

— Да ведь это моя столица! — ахнул он, оглядываясь на город.

Спешились царевич Орлик и царевна Кутафья и бросились в ноги отцу и матери. Подошёл и король Косарь.

— Ну, что же ты пнём стоишь? — сказал ему славный царь Горох. — От поклону голова не отвалится…

Поклонился злой король Косарь и сказал:

— Бью тебе челом, славный царь Горох!.. Отдай за меня прекрасную царевну Кутафью.

— Ну это ещё посмотрим! — гордо ответил царь Горох.

С великим торжеством повели гостей в королевскую палатку. Все их встречали с почётом. Даже царь Пантелей приосанился.

Только когда подходили к палатке, царица Луковна хватилась Босоножки, а её и след простыл. Искали-искали, ничего не нашли.

— Это была Горошинка, мама, — шепнула царице Луковке прекрасная царевна Кутафья. — Это она всё устроила.

Через три дня была свадьба — прекрасная царевна Кутафья выходила за короля Косаря. Осада с города была снята. Все ели, пили и веселились.

Славный царь Горох до того развеселился, что сказал царю Пантелею:

— Давай поцелуемся, царь Пантелей… И из-за чего мы ссорились? Ведь, ежели разобрать, и король Косарь совсем не злой…

XII

Когда царь Горох с царицей Луковной вернулся к себе домой со свадьбы, Босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна так и ахнула.

— Да откуда ты взялась-то, уродина? — рассердилась старуха.

— Вы на свадьбе у сестрицы Кутафьи веселились, а я здесь свои заплатки чинила.

— Сестрицы?!. Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная!.. Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать — тогда и узнаешь сестрицу Кутафью…

— Мама, да ведь я твоя дочь — Горошинка!

У царицы Луковны даже руки опустились. Старуха села к столу и горько заплакала. Она только теперь припомнила, что сама Кутафья ей говорила о Горошинке. Весело было на свадьбе, и про Горошинку с радости все и забыли.

— Ох, забыла я про тебя, доченька! — плакалась

царица Луковна. — Совсем из памяти вон… А ещё Кутафья про тебя мне шепнула. Вот грех какой вышел!..

Но, посмотрев на Босоножку, царица Луковна вдруг опять рассердилась и проговорила:

— Нет, матушка, не похожа ты на мою Горошинку… Ни-ни! Просто взяла да притворилась и назвалась Горошинкой. И Кутафью обманула… Не такая у меня Горошинка была…

— Право, мама, я Горошинка, — уверяла Босоножка со слезами.

— Нет, нет, нет… И не говори лучше. Ещё царь Горох узнает и сейчас меня казнить велит…

— Отец у меня добрый!..

— Отец?!. Да как ты смеешь такие слова говорить? Да я тебя в чулан посажу, чумазую!

Горошинка заплакала. Она же о всех хлопотала, а её и на свадьбу забыли позвать, да ещё родная мать хочет в чулан посадить. Царица Луковна ещё сильнее рассердилась и даже ногами затопала.

— Вот ещё горюшко навязалось! — кричала она. — Ну, куда я с тобой денусь? Придёт ужо царь Горох, увидит тебя — что я ему скажу? Уходи сейчас же с глаз моих…

— Некуда мне идти, мама…

— Какая я тебе мама!.. Ах ты, чучело гороховое, будет притворяться-то!.. Тоже, придумает: дочь!

Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать. А тут ещё, сохрани бог, царь Горох как-нибудь узнает… Вот беда прикачнулась!

Думала-думала старушка и решила послать за дочерью Кутафьей: «Она помоложе, может, что и придумает, а я уж старуха, и взять с меня нечего…»

Недели через три приехала и Кутафья, да ещё вместе со своим мужем, королём Косарём. Всё царство обрадовалось, а во дворце поднялся такой пир, что царица Луковна совсем позабыла о Босоножке, то есть не совсем забыла, а всё откладывала разговор с Кутафьей.

«Пусть молодые-то повеселятся да порадуются, — думала царица Луковна. — Покажи им этакую чучелу, так все гости, пожалуй, разбегутся…»

И гости веселились напропалую, а всех больше царь Пантелей — пляшет старик, только борода трясётся. Король Косарь отдал ему всё царство назад, и царь Пантелей радовался, точно вчера родился. Он всех обнимал и лез целоваться так, что царь Горох даже немного рассердился:

— Что ты лижешь, Пантелей, точно телёнок!

— Голубчик, царь Горохушко, не сердись!.. — повторял царь Пантелей, обнимая старого друга. — Ах, какой ты… Теперь я опять никого не боюсь и хоть сейчас опять готов воевать.

— Ну, это дело ты брось… Прежде я тоже любил повоевать, а теперь ни-ни!.. И так проживём…

Чтобы как-нибудь гости не увидали Босоножки, царица Луковна заперла её в своей комнате на ключ, и бедная девушка могла любоваться только в окно, как веселились другие. Гостей наехало со всех сторон видимо-невидимо, и было что посмотреть. Когда надоедало веселиться в горницах, все гости выходили в сад, где играла весёлая музыка, а по вечерам горели разноцветные огни. Царь Горох похаживал среди гостей, разглаживал свою бороду и весело приговаривал:

— Не скучно ли кому? Не обидел ли я кого? Хватает ли всем вина и еды? Кто умеет веселиться, тот добрый человек…

Босоножка видела из окна, как царь Пантелей с радости подбирал полы своего кафтана и пускался вприсядку. Он так размахивал длинными руками, что походил на мельницу или на летучую мышь. Не утерпела и царица Луковна — тряхнула стариной. Подбоченясь, взмахнула

шёлковым платочком и поплыла павой, отбивая серебряными каблучками.

— Эх-эх-эх!.. — приговаривала она, помахивая платочком.

— Ай да старуха! — хвалил царь Горох. — Когда я был молодой, так вот как умел плясать, а теперь брюхо не позволяет…

Босоножка смотрела на чужое веселье и плакала: очень уж ей было обидно чужое веселье.

XIII

Сидя у своего окошечка. Босоножка много раз видела сестру, красавицу Кутафью, которая ещё более похорошела, как вышла замуж. Раз Кутафья гуляла одна, и Босоножка ей крикнула:

— Сестрица Кутафья, подойдите сюда!

В первый раз Кутафья сделала вид, что не слыхала, во второй раз — она взглянула на Босоножку и притворилась, что не узнала её.

— Милая сестрица, да ведь это я, Горошинка!

Красавица Кутафья пошла и пожаловалась матери. Царица Луковна страшно рассердилась, прибежала, выбранила Босоножку и закрыла окно ставнями.

— Ты у меня смотри! — ворчала она. — Вот ужо, дай только гостям уехать… Пристало ли тебе,

чучеле, с красавицей Кутафьей разговаривать? Только меня напрасно срамишь…

Сидит Босоножка в темнице и опять плачет. Свету только и осталось, что щёлочка между ставнями. Нечего делать, от скуки и в щёлочку насмотришься. По целым часам Босоножка сидела у окна и смотрела в свою щёлочку, как другие веселятся. Смотрела-смотрела и увидела красавца витязя, который приехал на пир случайно. Хорош витязь — лицо белое, глаза соколиные, русые кудри из кольца в кольцо. И молод, и хорош, и удал. Все любуются, а другие витязи только завидуют. Нечего сказать, хорош был король Косарь, а этот получше будет. Даже гордая красавица Кутафья не один раз потихоньку взглянула на писаного красавца и вздохнула.

А у бедной Босоножки сердце так и бьётся, точно пойманная птичка. Очень уж ей понравился неизвестный витязь. Вот бы за кого она замуж пошла! Да вся беда в том, что Босоножка не знала, как витязя зовут, а то как-нибудь вырвалась бы из своей тюрьмы и ушла бы к нему. Все бы ему до капельки рассказала, а он, наверно, пожалел бы её. Ведь она хорошая, хоть и уродина.

Сколько гости ни пировали, а пришлось разъезжаться по домам. Царя Пантелея увезли совсем

пьяного. На прощанье с дочерью царица Луковна вспомнила про свою Босоножку и расплакалась:

— Ах, что я с нею только делать буду. Кутафья!.. И царя Гороха боюсь, и добрых людей будет стыдно, когда узнают.

Красавица Кутафья нахмурила свои соболиные брови и говорит:

— О чём ты плачешь, матушка? Пошли её в кухню, на самую чёрную работу — вот и всё... Никто и не посмеет думать, что это твоя дочь.

— Да ведь жаль её, глупую!

— Всех уродов не пережалеешь... Да я и не верю ей, что она твоя дочь. Совсем не в нашу семью: меня добрые люди красавицей называют, и брат Орлик тоже красавец. Откуда же такой-то уродине взяться?

— Говорит, что моя...

— Мало ли что она скажет... А ты её пошли на кухню, да ещё к самому злому повару.

Сказано — сделано. Босоножка очутилась на кухне. Все повара и поварихи покатывались со смеху, глядя на неё:

— Где это наша царица Луковна отыскала такую красоту? Вот так красавица! Хуже-то во всём гороховом царстве не сыскать.

— И одежонка на ней тоже хороша! — удивля-

лась повариха, разглядывая Босоножку. — Ворон пугать… Ну и красавица!

А Босоножка была даже рада, что освободилась из своего заточения, хотя её и заставляли делать самую чёрную работу — она мыла грязную посуду, таскала помои, мыла полы. Все так ею и помыкали, а особенно поварихи. Только и знают, что покрикивают:

— Эй ты, хромая нога, только даром царский хлеб ешь! А пользы от тебя никакой нет…

Особенно донимала её старшая повариха, злющая старая баба, у которой во рту словно был не один язык, а целых десять. Случалось не раз, что злая баба и прибьёт Босоножку: то кулаком в бок сунет, то за косу дёрнет. Босоножка всё переносила. Что можно было требовать от чужих людей, когда от неё отказались родная мать и сестра! Спрячется куда-нибудь в уголок и потихоньку плачет — только и всего. И пожаловаться некому. Правда, царица Луковна заглядывала несколько раз на кухню и справлялась о ней, но поварихи и повара кричали в один голос:

— Ленивая-преленивая эта уродина, царица! Ничего делать не хочет, а только даром царский хлеб ест…

— А вы её наказывайте, чтобы не ленилась, —

говорила царица.

Стали Босоножку наказывать: то без обеда оставят, то запрут в тёмный чулан, то поколотят.

Больше всего возмущало всех то, что она переносила всё молча, а если плакала, то потихоньку.

— Это какая-то отчаянная! — возмущались все. — Её ничем не проймёшь… Она ещё что-нибудь сделает с нами. Возьмёт да дворец подожжёт — чего с неё взять, с колченогой!..

Наконец вся дворня вышла из терпения, и все гурьбой пошли жаловаться царице Луковне:

— Возьми ты от нас, царица Луковна, свою уродину. Житья нам не стало с нею. Вот как замаялись с нею все — и не рассказать!

Подумала-подумала царица Луковна, покачала головой и говорит:

— А что я с ней буду делать? Надоело мне слушать про неё…

— Сошли ты её, царица-матушка, на задний двор. Пусть гусей караулит. Самое это подходящее ей дело.

— В самом деле, послать её в гусятницы! — обрадовалась царица Луковна. — Так и сделаем… По крайней мере, с глаз долой.

XIV

Совсем обрадовалась Босоножка, как сделали её гусятницей. Правда, кормили её плохо — на задний двор посылали с царского стола одни объедки, но зато с раннего утра она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Завернёт корочку хлеба в платок — вот и весь обед. А как хорошо летом в поле — и зелёная травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба так ласково-ласково. Босоножка забывала про своё горе и веселилась, как умела. С нею разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них Босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие.

— Ты у нас будешь царицей, — шептали ей цветы.

— Я и то царская дочь, — уверяла Босоножка.

Огорчало Босоножку только одно: каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь Горох поесть жирной гусятины. Гуси ужасно роптали на царя Гороха и долго гоготали:

— Го-го-го… ел бы царь Горох всякую другую говядину, а нас бы лучше не трогал. И что мы ему

понравились так, несчастные гуси!

Босоножка ничем не могла утешить бедных гусей и даже не смела сказать, что царь Горох совсем добрый человек и никому не желает делать зла. Гуси всё равно бы ей не поверили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости. Царь Пантелей один съедал целого гуся. Любил старик покушать, хоть и худ был, словно Кащей. Другие гости тоже ели да царя Гороха похваливали. Вот какой добрый да гостеприимный царь… Не то, что король Косарь, у которого много не разгостишься. Красавица Кутафья, как вышла замуж, сделалась такая скупая — всего ей было жаль. Ну, гости похлопают глазами и уедут несолоно хлебавши к царю Гороху.

Как-то наехало гостей с разных сторон видимо-невидимо, и захотел царь Горох потешить их молодецкою соколиною охотой. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом, наставили столов, навезли и пива, и браги, и всякого вина, разложили по столам всякую еду. Приехали и гости — женщины в колымагах, а мужчины верхом. Гарцуют на лихих аргамаках, и каждый показывает свою молодецкую удаль. Был среди гостей и тот молодой витязь, который так понравился Босоножке. Звали его Красик-бо-

гатырь. Все хорошо ездят, все хорошо показывают свою удаль, а Красик-богатырь — получше всех. Другие витязи и богатыри только завидуют.

— Веселитесь, дорогие гости, — приговаривает царь Горох, — да меня, старика, лихом не поминайте… Кабы не моё толстое брюхо, так я бы показал вам, как надо веселиться. Устарел я немного, чтобы удаль свою показывать… Вот, спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет… А из лука как стрелял — раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, а она в правую заднюю ногу вышла.

Царица Луковна вовремя дёрнула за рукав расхваставшегося мужа, и царь Горох прибавил:

— То бишь это не медведь был, а заяц…

Тут царица Луковна дёрнула его опять за рукав, и царь Горох ещё раз поправился:

— То бишь и не заяц, а утка, и попал я ей не в глаз, а прямо-прямо в хвост… Так, Луковна?

— Так, так, царь Горох, — говорит царица. — Вот какой был удалый…

Расхвастались и другие витязи и богатыри, кто как умел. А больше всех расхвастался царь Пантелей.

— Когда я был молодой — теперь мне борода

мешает, — так я одною стрелою убил оленя, ястреба и щуку, — рассказывал старик, поглаживая бороду. — Дело прошлое, теперь можно и похвастаться…

Пришлось царице Луковне дёрнуть за рукав и брата Пантелея, потому как очень уж он начал хвастаться. Смутился царь Пантелей, заикаться стал:

— Да я… я… Я прежде вот как лёгок был на ногу: побегу и зайца за хвост поймаю. Вот хоть царя Гороха спросите…

— Врёшь ты всё, Пантелей, — отвечает царь Горох. — Очень уж любишь похвастать… да… И прежде хвастал всегда, и теперь хвастаешь. Вот со мною действительно был один случай… да… Я верхом на волке целую ночь ездил. Ухватился за уши и сижу… Это все знают… Так, Луковна? Ведь ты помнишь?

— Да будет вам, горе-богатыри! — уговаривала расходившихся стариков царица. — Мало ли что было… Не всё же рассказывать. Пожалуй, и не поверят ещё… Может быть, и со мною какие случаи бывали, а я молчу. Поезжайте-ка лучше на охоту…

Загремели медные трубы, и царская охота выступила со стоянки. Царь Горох и царь Пантелей

не могли ехать верхом и тащились за охотниками в колымагах.

— Как я прежде верхом ездил! — со вздохом говорил царь Горох.

— И я тоже… — говорил царь Пантелей.

— Лучше меня никто не умел проехать…

— И я тоже…

— Ну, уж это ты хвастаешь, Пантелей!

— И не думал… Спроси кого угодно.

— И всё-таки хвастаешь… Ну, сознайся, Пантелеюшка: прихвастнул малым делом?

Царь Пантелей оглянулся и шёпотом спросил:

— А ты, Горохушко?

Царь Горох тоже оглянулся и тоже ответил шёпотом:

— Чуть-чуть прибавил, Пантелеюшка… Так, на воробьиный нос.

— И велик же, должно быть, твой воробей!

Царь Горох чуть-чуть не рассердился, но вовремя вспомнил, что нужно быть добрым, и расцеловал Пантелея.

— Какие мы с тобой богатыри, Пантелеюшка!.. Даже всем это удивительно! Куда им, молодым-то, до нас…

XV

Босоножка пасла своих гусей и видела, как тешится царь Горох своею охотой. Слышала она весёлые звуки охотничьих рогов, лай собак и весёлые окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на своих дорогих аргамаках. Видела Босоножка, как царские сокольничьи бросали своих соколов на разную болотную птицу, поднимавшуюся с озера или с реки, на которой она пасла своих гусей. Взлетит сокол кверху и камнем падёт на какую-нибудь несчастную утку, только пёрышки посыплются. А тут отделился один витязь от царской охоты и несётся прямо на неё. Перепугалась Босоножка, что его сокол перебьёт её гусей, и загородила ему дорогу.

— Витязь, не тронь моих гусей! — смело крикнула она и даже замахнулась хворостиной.

Остановился витязь с удивлением, а Босоножка узнала в нём того самого, который понравился ей больше всех.

— Да ты кто такая будешь? — спросил он.

— Я царская дочь…

Засмеялся витязь, оглядывая оборванную Босоножку с ног до головы. Ни дать ни взять настоящая царская дочь… А главное, смела и даже

хворостиной на него замахнулась.

— Вот что, царская дочь, дай-ка мне напиться воды, — сказал он. — Разжарился я очень, а слезать с коня неохота…

Пошла Босоножка к реке, зачерпнула воды в деревянный ковш и подала витязю. Тот выпил, вытер усы и говорит:

— Спасибо, красавица… Много я на свете видывал, а такую царскую дочь вижу в первый раз.

Вернулся богатырь на царскую ставку и рассказывает всем о чуде, на которое наехал. Смеются все витязи и могучие богатыри, а у царицы Луковны душа в пятки ушла. Чего она боялась, то и случилось.

— Приведите её сюда — и посмотрим, — говорит подгулявший царь Пантелей. — Даже очень любопытно… Потешимся досыта.

— И что вам за охота на уродину смотреть? — вступилась было царица Луковна.

— А зачем она себя царскою дочерью величает?

Послали сейчас же послов за Босоножкой и привели перед царский шатёр. Царь Горох так и покатился со смеху, как увидал её. И горбатая, и хромая, и вся в заплатках.

— Точно где-то я тебя, умница, видел? — спра-

шивает он, разглаживая бороду. — Чья ты дочь?

Босоножка смело посмотрела ему в глаза и отвечает:

— Твоя, царь Горох.

Все так и ахнули, и царь Пантелей чуть не задохнулся от смеху. Ах, какая смешная Босоножка и как осрамила царя Гороха!

— Это я знаю, — нашёлся царь Горох. — Все мои подданные — мои дети…

— Нет, я твоя родная дочь Горошинка, — смело ответила Босоножка.

Тут уж не стерпела красавица Кутафья, выскочила и хотела вытолкать Босоножку в шею. Царь Горох тоже хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что он добрый царь, и только расхохотался. И все стали смеяться над Босоножкой, а Кутафья так и подступает к ней с кулаками. Все замерли, ожидая, что будет, как вдруг выступил из толпы витязь Красик. Молод и горд был Красик, и стало ему стыдно, что это он подвёл бедную девушку, выставил её на общую потеху, да и обидно притом, что здоровые люди смеются и потешаются над уродцем. Выступил витязь Красик и проговорил:

— Цари, короли, витязи и славные богатыри, дайте слово вымолвить… Девушка не виновата,

что она такою родилась, а ведь она такой же человек, как и мы. Это я её привёл на общее посмешище и женюсь на ней.

Подошёл витязь Красик к Босоножке, обнял её и крепко поцеловал.

Тут у всех на глазах случилось великое чудо: Босоножка превратилась в девушку неописанной красоты.

— Да, это моя дочь! — крикнул царь Горох. — Она самая!..

Спало колдовство с Босоножки, потому что полюбил её первый богатырь, полюбил такою, какою она была.

Я там был, мёд-пиво пил, по усам текло — в рот не попало.

Владимир Галактионович Короленко
(1853–1921)

Стой, солнце, и не движись, луна!

В некотором царстве, в некотором государстве, за тридевять земель, в тридесятом царстве стоял, а может, и теперь ещё стоит, город Восток со пригороды и со деревнями. Жили в том городе и в округе востоковские люди ни шатко ни валко, в урожай ели хлеб ржаной чуть не досыта, а в голодные годы примешивали ко ржи лебеду, мякину, а когда так и кору осиновую глодали. Народ они были повадливый и добрый. Начальство любили и почитали всемерно.

Лежал тот город Восток с округой в местах отдалённых, хоть три года от него скачи, ни до какого государства не доскачешь. И случилось как-то так, что во всех прочих местах начальство давно переменилось: на место воевод стали ландраты, потом капитан-исправник, потом ещё поновее. Завелись даже думы; а в Востоковской округе по-старому правили все воеводы и все из одного рода Устаревших. Как это так вышло и кто того дела недосмотрел, этого и по сию пору объяснить никак невозможно; только всюду перемены пошли, а в Востокове с округой как сел воевода Устаревший, так и сидел до своей кончины. Сам,

бывало, задумывается: когда же, мол, мне смена выйдет?.. Подумывал даже сам на иной манер повернуть — да так с этими мыслями и помер. А как востоковцам без начальства быть не повелось, то и стал ими править сын Устаревшего и тоже правил до своей кончины. А там пошёл править и третий. Востоковцы и довольны: будто так и надо. И почитали своих природных воевод свыше всякой меры. Потому — видят: никто Устаревших не ставит, никто не сменяет. Стало быть, от бога пошли.

Так и жили. Только со временем пошли по Востоковской округе неподобные речи: рано ли, мол, поздно ли, а уж выйдет Устаревшим упразднение.

Кто первый те речи пустил — неведомо. Говорят: от заезжих людей пошло. Действительно, наезжие люди — хитрые. Устаревшие им торги-промыслы разрешали, а они им же, как говорится, в шапку накладывали.

Позовёт их, бывало, Устаревший на воеводский двор и станет спрашивать:

— И как только вы, поганцы этакие, без воевод в своей стране живёте?

А они отвечают:

— Мы, мол, и сами, ваше воеводство, не рады.

Известно, народишко от начальства отбился. Озорники!

— Известно, озорники, — воевода говорит. — А вот у меня — благодать. Что хочу, то и делаю!

— Разумеется, — говорят, — благодать. На что лучше, ежели чего хочешь делать, — никто не препятствует…

Ну, а пойдут после того же гости по востоковским людям торговать или по дворам ночевать, тут опять другие речи поведут:

— Больно у вас, — говорят, — Устаревшие-то плохи. Чего и вы-то, полоротые, смотрите?..

Конечно, который крепкий человек, слушает да ухмыляется. Ладно, мол! Было бы нам солнце красное, да дождик, да вёдро во благовремении. Будет, мол, и хлебушко. А до прочего дела нет… Ещё, бывало, другой раз и в драку полезут. А драться были горазды… Ну, да на грех мастера нет: другой, глядишь, и задумается. А уж это, известно, последнее дело. Думает-думает, да и сам туда же:

— Оно, мол, и правда. Надо бы и у нас, как у людей. Чем мы хуже?

Может, и в самом деле от этого, может, и от другого чего, только пошли по округе тёмные толки… Дошло и до воеводы, и стал воевода тоже

задумываться. Велит согнать обывателей, выйдет на крыльцо, посмотрит, посмотрит, да вдруг и крикнет:

— Кто я по здешнему месту?

Людишки кланяются: «Ты, мол, по здешнему месту воевода, отец и благодетель».

— То-то, — говорит. — Посадить их в холодную.

Людишки кланяются:

— На то есть твоя воеводская воля!

А Устаревший доволен.

— Вот, — говорит, — обыватель у меня как приучен… Откуда же мне может упразднение произойти, ежели они только кланяются да благодарят… Не может этого быть…

Велит опять людишек повыпустить — они сейчас смирно да благородно кто в лавку, кто за промысел. Воеводской милости рады. А толки-то всё где-то ходят: «Будет Устаревшему воеводе упразднение…» И у воеводы на сердце сосёт что-то.

Велит воевода звездочёта позвать. Ещё прежние Устаревшие выписали к себе из другой округи учёных людей: пущай, говорят, и у нас, как у других прочих начальников, учёные живут, около наших достатков кормятся, да про меня, воеводу, истории пишут. А там и из востоковцев, которые

повострее, стали тоже доходить. Много понавыкли и много про воевод историй написали.

Вот позвал воевода одного учёного и говорит:

— Скажи ты мне, умная голова, всю правду: откуда в прочих землях воеводам упразднение вышло и может ли мне выйти?.. Потому народ у меня смирный: боярин ласковый, на подачки падок, купец жадный да смирный, и все вообще только кланяются… Хочешь, — говорит, — в старые книги гляди, хочешь — по звёздам читай, а только говори всю правду, за свой живот не опасайся…

Пошёл звездочёт на свою вышку, сидел ночь, да ещё ночь, и ещё ночь. Всего три ночи. Потом на самой заре велит воеводу разбудить и говорит ему:

— Глядел я, — говорит, — в старые книги и чёл по звёздам, и вот что я тебе скажу, воевода Устаревший. Всякому овощу есть своё время, и ничто в сём мире не вечно. Оттого и всякому чину со временем упразднение выходит, оттого и воеводы упразднились. Только редкие упразднялись в своё время, а больше безо времени, от своей глупости. Смотри же и ты, воевода, опасайся. Наипаче имей опаску, как подойдёт весна красная да зазвенят потоки весенние…

Осердился воевода на звездочёта и договорить ему не дал:

— Вот, — говорит, — ты какой! Я думал, ты меня, воеводу, успокоишь… Хорошо же, — говорит, — я своего слова ломать не стану, живота тебя весьма не лишу. А только, чтобы те речи ты никому не мог повторить, сошлю тебя в самую дальнюю волость, где живёт одна чудь бессловесная. Калякай там с чудью, сколько твоей душе угодно.

Мигнул воевода, звездочёта схватили, — хотел он что-то ещё сказать воеводе, пытался кричать, да тот не захотел слушать. Усадили звездочёта в кибиточку, посадили с ним двух архаровцев, зазвенел колокольчик, и повезли учёного на самый край Востоковской округи, куда и ворон костей не занашивал, к самому холодному морю. Только и слышно, как море холодною волною плещет да чудь промежду себя балакает.

Никто не видал, как увезли звездочёта. Было это на самой зорьке. Людишки спали, а кто и видел, не смел много рассказывать. Да ведь всё-таки: где утаить, когда был человек среди людей, а тут человека не стало. Пала на востоковцев пущая тоска. По-прежнему в церкви по праздникам ходят, в будни делом занимаются и кланяются все по-прежнему, а молва-то так и ходит, так каж-

дому в ухо и шипит: послал воевода звездочёта в холодную сторону, знать, сказал учёный воеводе что-нибудь об упразднении… и стало в округе пущее беспокойство.

Что больше слухи идут, то воевода больше свирепеет. А больше воевода свирепствует — и опять же больше слухи идут. Фискалы рыщут, доносят. Схватят Ивашку либо Микишку с базару, волокут в воеводскую тюрьму, народ смотрит… Иные, которые построже, говорят: «Так и надо», — а другие жалеют:

— Эх, из-за этих Устаревших только людям перевод!

А фискалы слушают да новых волокут: то были все слётыши, а тут уж за отцов да за дядьев принялись. А говор не унимается.

— Ежели, — говорят, — и дальше этак, — бог с ними и с Устаревшими!

Беда, да и только!

Видит воевода эту крамолу и думает: «Верно, им другой такой же мудрец что-нибудь сказал. Сем-ка я всех учёных прекращу. Будет им на моём дворе кормиться да про меня, воеводу, книжки складывать».

А к тому времени учёных-то столько развелось, что давно и во дворе воеводском не умещаются.

Стали вольным манером жить и про воеводу книжки складывать забыли, а вместо того стали прочими книгами торговать и ведомости выпускать. И начал он над всеми книжными людьми лютовать… Оставил на воеводском дворе малое число таких, что только жуют губами да у воеводы к фалдочкам, походя, прикладываются, а остальным велел кормы прекратить, а то и хуже…

Подивились востоковцы на воеводину свирепость, да делать-то нечего — отступились. Мол, дело не наше. Кто землю пашет, кто сапоги тачает, кто промыслами промышляет. В сытые годы, мол, едим мало, не досыта, в голодные годы кору гложем, на всё воеводская милость. Когда ни то воевода усмотрит, опять милостив станет. А учёные стали ему неугодны — его дело, воеводское, а наше, мол, дело сторона.

Только смотрят людишки, посмотрят, что ни дальше, то больше — чинит воевода не гораздо, — принялся уж казну расточать; созвал именитых купцов — дал им льготу, созвал дворян — дани-пошлины скостил: «Вот, говорит, вам моя милость, чтобы, в случае чего, быть мне на вас в надежде…» Подивились людишки: годы будто плохие пошли, из каких капиталов воевода бо-

гатых людей задаривает? Ну, да ладно. Ничего! Хоша, говорят, не допьём, не доедим, все авось живы останемся… Пущай потешит свой нрав воеводский… От черни берёт, богатых задаривает…

Опять только кланяются…

Пирует воевода с именитыми боярами, льстивые речи слушает, ан память-то и подскажи звездочётовы слова: «И купец смирен, и боярин льстив, и чернедь только шапки ломает… А опасны тебе, воеводе, земля-матушка, да красное солнышко, да звенящие потоки весенние…»

— Что бы это значило? — говорит себе воеводa. — И может ли такое быть? Нет, — говорит, — не может, — а у самого что-то сосёт, и сам всё про весну думает, пуще прежнего сумрачен стал.

Услышал как-то, что детишки на улице песню поют: «Придёт, придёт весна красна». Он их собственной рукой за виски таскать.

— Чему, мол, пострелята, радуетесь? Кто вам крамолу внушает? В школах небось пакость эта завелась.

Зашёл в училище, а там учитель ученикам стихи читает:

Солнце встанет, солнце спросит…

«А-а! — думает воевода. — Вот оно что! Ладно!»

И стало ему учение ненавистно. Ну, пристав Негодяев приметил это и давай на школы походами ходить. Придёт, разгонит и окна заколотит…

Вот приходит раз этот Негодяев с докладом.

— Ну что? — спрашивает воевода.

— Всё, — говорит, — благополучно, никаких происшествий нет, ваше воеводство.

— А о чём говорят?

— Мало и говорят-то. Больно народ присмирел. Только, мол, и радости, что праздник Христов да новый год встретить… А весна, мол, нынче по приметам будет ранняя да многоводная…

Вскочил тут воевода, как ужаленный. Откуда такие крамольные речи пошли? Сыскать, кто про весну слухи превратные пускает.

Пошёл Иван Негодяев, позвал Иудушку Ухина и велел ему со домочадцы ходить по базарам, в домы и во дворы заглядывать и сыскать, откуда у людей речи про новый год и про раннюю весну, да про большую воду весеннюю.

Приходит вскоре тот Негодяев с докладом.

— Сыскал ли, что приказано? — спрашивает воевода, сам темнее ночи.

— Сыскал, ваше воеводство. Есть в городе книжная торговля Сосноборского, так он целую партию календаря господина Суворина выписал. Народ

покупает…

— Как же, — воевода говорит, — ты мне этого своевременно не доложил? Знаешь, кто такой Суворин?

Иван Негодяев испугался.

— Они, — говорит, — точно что в прежнее время… Только давно покаялись…

Воевода даже ногами затопал.

— Знаю, — говорит, — я его покаяние, а сам вот календари сочиняет! Календари отнять, и которые куплены ранее, тем произвести тщательный поиск и народу объявить: нынешний раз никакого им нового года не будет, чтобы и не ждали. Понял? Я, — говорит, — им такой новый год покажу!

— Слушаю-с, — говорит Негодяев и сам сейчас кинулся к Иуде Ухину со домочадцы.

Пошла во всём городе переборка. Сосноборского обыскали, а поелику оный оказался польского происхождения, то его заточили, а животишки отобрали в казну. Календарей он выписал сотни две. Одну сотню нашли в наличности, штук восемьдесят по строгим объявкам принесли сами обыватели, прося их за то не казнить, будто купили они не с вымыслу, а по простоте и не зная подлинного закона. Таковых Иуда Ухин с Негодя-

евым заточили в тюрьму и о поступке их довели до воеводы, но воевода велел их помиловать. А двадцать штук календарей как в воду кануло.

— Куда девались? — спрашивает воевода у Негодяева.

— Не могу знать… А только предположительно так надо думать, что всё зло от кружков происходит… Называемые кружки саморазвития, ваше воеводство!

— Что такое?

— Молодые люди собираются, книжки читают…

— И календари тоже?

— Не без того, ваше воеводство.

— Чтоб этого не было.

Негодяев, нимало не медля, собираться для чтения книг воспретил. Но крамольники тотчас же образовали, вместо оных невинных кружков, тайные общества и, собираясь под кровом тёмных ночей, стали промеж себя читать календарь господина Суворина и предаваться превратным толкованиям: сколько дней осталось бы ещё до нового года, ежели бы оный тиранством воеводы Устаревшего не был в Востоковской округе упразднён. Некоторые же, наиболее решительные, прибавляли, что сколь ни старайся Ухины

с Негодяевыми, а весны им не удержать, которая вдобавок в этом году имеет наступить не девятого марта, а много ранее…

Так впервые появилась в Востоковской округе крамола, и с тех пор уже не удавалось извести оную, не взирая ни на какие Ухиных с Негодяевыми старания.

А воевода всё скучает.

Ухины с Негодяевыми и рады: чем бы воеводу успокоить, они только и стараются что-нибудь нашептать да сфискалить. Даже друг дружку подсиживают. Приходит раз один Негодяев из мелких, подаёт воеводе листок ведомостей. Посмотрел воевода, прочитал. Ничего. Пожаров не было, трусу, мора или неприятельского нашествия бог миловал. Всё хорошо. Воевода спрашивает:

— Что же тебе, малому Негодяеву, надо?

А тот ему пальцем осторожно показывает: наверху листка прописано: декабря 15-го числа.

— Ну так что?

— А то, ваше воеводство, что завтра проставят шестнадцатое. До нового-то году всего две недели… Каких же, ваше воеводство, ещё календарей надо!

Вскипел воевода, позвал Негодяева-старшего…

— Это, — говорит, — что у тебя делается?

— Виноват, — говорит, — ваше воеводство… Вещь действительно опасная. Недосмотрел.

— То-то. Прекратить все ведомости! Не надо мне.

А Негодяев-малый из-под руки уж тут.

— Дозвольте, — говорит, — слово молвить. Нельзя этого дела прекратить: народу много от этого кормится. А можно иначе. Дозвольте мне газетину издавать да жалованьишко положите. А прочих помаленьку сократим, не сразу.

— Ладно, — говорит воевода.

Вышли потом оба Негодяевы, большой да малый, вот большой и говорит малому:

— Подлец ты, Микишка, как есть. Как же ты это дело устроишь? Ведь и на твоих ведомостях всё одно дни-месяцы ставить придётся.

А малый Негодяев только ухмыляется.

— Для чего настоящее ставить? Можно какие-нибудь зряшные выдумать. А то назад считать. Нонче вот пятнадцатое, а завтра станет четырнадцатое. Послезавтра — и того меньше.

Посмотрел на него старший Негодяев, самому даже маленько страшно стало.

— Ну, — говорит, — Микишенька! Далеко пойдёшь. Меня, старого Негодяева, перенегодяил!

А тот говорит: рады стараться.

Так и сделали. Стал Негодяев-малый ведомости выпускать. Вышел первый нумер, диву дались востоковцы: на газете-то вместо числа и месяца стоит «Мартобря 14», а назавтра уж 13 стало, да так назад и пошло. А прочим газетчикам внушение… Ну, известно, которые понятливее сами стали так же писать: мартобря, мол, так и мартобря. Только два брата Невинномыские с товарищи запечалились шибко: люди они были солидные, писали складно, первыми умниками по городу слыли. И уж бывало, когда пропечатают что-нибудь в своей газете — то всегда аккуратно. И все им поэтому верили. А тут вот пиши невесть что, курам на смех. Собрались они скопом, написали о всех непорядках и пошли к воеводе. Только к воеводе их не допустили, потому воевода напугался: чего, говорят, этим бунтовщикам надо? И послал к ним Негодяева.

Вышел Негодяев к воротам, спрашивает вежливенько:

— Кто вы такие? Чего ради бунтуете?

— Мы, ваше здоровье, не бунтуем, мы есть Невинномыские, и в роду нашем с искони бунтовщиков не было. А пришли по своему делу к воеводе, потому что терпим крайнее утеснение.

— Какое, мол, утеснение?

— А такое, что училища расточили и не велят на ведомостях месяцы-числа ставить…

— Как, — говорит, — не велят? А это что? — И показывает им «Востоковские ведомости», на коих стоит ясно: мартобря 10 числа.

— Помилуйте, ваше здоровье, — завопили Невинномыские скопом, — нам эту срамоту делать невозможно, потому что мы люди солидные и всегда писали аккуратно…

— А не хотите, — говорит, — сами пеняйте на себя… Мы, — говорит, — крамолу терпеть не можем.

Пошли Невинномыские с товарищи от воеводского двора не солоно хлебавши. Толковали промежду себя, толковали, даже всплакнули малость. Которые, пожалуй, не прочь бы и послушаться: что же, мол, пропадать напрасно? Да старшие устыдили: когда, мол, это видано, чтобы Невинномыские так осрамились. Когда уже нельзя нам верные числа ставить, выйдем вовсе без чисел!

Так и сделали: на следующий день в Востокове на одних ведомостях стояло мартобря 9-го. Читают обыватели и говорят: «Врёшь, подлая душа, негодяевское отродье, сейчас мы верные

месяц-число узнаем доподлинно». Кинулись газетину Невинномысских покупать, ан там — чисто! Никакого числа нету…

Запечалились востоковцы: календарей нет, а теперь вот и по газете числа не узнаешь. Стали Невинномысских корить: «Для чего дней настоящих не показываете: не умеете вы за правду пострадать». А те в ответ: «А много ли вы звездочёту помогли, когда он правду сказал?»

А Негодяев тем временем воеводе нашёптывает:

— Кабы, — говорит, — не я, Невинномысские хотели воеводский двор разорить, а тебя, воеводу, упразднить… Да я их усмирил. А теперь, погляди, чего делают, — ведомости без числа выпускают, чтобы всё твоё воеводино тиранство видели. Прикажи мне их до конца расточить.

Да воевода на ту пору обмяк. Заплакал только:

— Ладно, — говорит. — Вижу я, что они не хотят мне, воеводе, удовольствия сделать… Пущай! Когда-нибудь я им это попомню…

И пуще запечалился. Никто уж его весёлым и не видывал. То запрётся на воеводском дворе, на вышке, то опять невесть куда уедет. А и на люди выйдет — радости мало. В прежние, бывало, времена пойдёт Устаревший по улицам, людишкам

любо-весело, в городе радостно. С одним поговорит, у другого спросит, к иным даже в дома захаживал, детей крестил. А тут идёт, кругом фискалы шныряют, на встречных как волки глядят.

Бывало, и в школы захаживал. Людишки тогда не больно к школам-то прилежали: на что, говорят, баловство это. Так Устаревший сам их журил, уму-разуму наставлял: «Учение, скажет, бывало, свет, а неучение тьма! Учёный, говорит, и себе больше достанет, и мне, воеводе, недоимку внесёт…» А ноне сами востоковцы вникли, училищей понастроили, стали детей туда гонять. А Устаревший — чем ему бы радоваться — опять из-под бровей волком глядит:

— Ишь, — говорит, — прорвало их, стараются. Все подлецам календари Суворина читать хочется…

А газетчик Негодяев забрал такую силу, что даже Иудушка Ухин стал его бояться. Что Ухин с товарищи недослушает, недоглядит, то Негодяев в своей газете уже и пропечатал, а то ещё такого прибавит, подлая душа, чего и не бывало.

Встали раз утром Невинномыские, глядят — а люди от них сторонятся.

Взяли они негодяевские ведомости, а там вот что пропечатано: «Оные, говорит, ведомые воры и

бунтовщики, питая в сердцах своих крамольные ожидания, составили в городе Востоке общество «любителей солнечного восхода». Под видом якобы невинной любви к красотам природы, прикрываясь даже стремлением к прославлению творца, сии злые воеводы нашего ненавистники, прокрадываясь под покровом ночи к урочищу, именуемому Васькин Умёт, и оттуда, глядя на солнечный восход, предаются неистовому радованию… Чему же оные радуются, и то, надо быть, хорошо известно братьям Ухиным. Но от оных примечается несмотрение, отчего воеводский интерес приходит к умалению, а город с округой — к конечной гибели».

А как воевода и этот раз только заплакал («ладно, мол, я им и это попомню»), то Негодяев, придя в неистовую о воеводском интересе ревность, стал самого воеводу корить за слабость и при сём в восторге восклицал:

— Ну, ударь меня, ударь за это, ударь за мою службу!..

Воевода и его не ударил, и даже за усердие похвалил и приказал против Невинномысских принять меры. А именно повелел, дабы «таковые сборища впредь прекращать всемерно». Но как и после приказу многие крамольники, прокра-

дываясь мимо стражей, приходили на то место и, глядя на солнце, вздыхали, проливали слёзы, а иные даже слагали в честь оного светила канты, то воевода приказал «на холме, откуда прежде всего показывались солнечные лучи, поставить полицейскую будку, а около будки околоточного надзирателя Держиморду, с таковым притом расчётом, дабы, когда солнце первыми лучами над землёй взыграет, то на осветившемся небосклоне фигура Держиморды выступала бы с полною ясностию, олицетворяя собою бодрствующее непрестанно начало власти…».

Братья Невинномыские приказу воеводы подчинились и ходить на заре к мызе перестали, но молодые востоковцы, склонные к буемыслию, не бросили этого дела и даже стали от времени до времени чинить на Держиморду засады и лукать в него камнями и поленьями. С тех пор пошло в Востоке уже явное бунтовство и озорство, и оное уже до конца воеводствования Устаревшего не переводилось.

Стал тогда воевода писать указы явные и тайно-подмётные. И прежде насчёт законов в Востоковской округе не вовсе ладно было: обыватель исполняет, а Негодяев попирает. Так, по крайности, востоковцы хоть знали, что им ис-

полнять надлежит, на что Негодяев наступить может. А тут уж вовсе с толку сбились: напишет воевода указ да Негодяеву с Ухиным объявит. Людишки, ничего не зная, поступают по прежним объявленным указам, а Негодяевы да Ухины чинят им воздаяния по указам тайно-подмётным.

Мартобря числа этак 25-го объявлено с барабанным боем, дабы «обыватели с сего числа и впредь неукоснительно самовольный счёт дней прекратили, друг у друга о днях бы не спрашивали и на вопросы ответствовать не осмеливались. На предмет же обычных благопотребных занятий и для содержания чреды полезных трудов — о происходящей по законам естества смене дня и нощи — имеют быть извещаемы с пожарной города Востока каланчи неупустительно».

А тайно-подмётный указ по команде гласил тако:

«*Секретно*

Известно, что многие неблагонамеренные люди, устремляясь на погибель всей округе к упразднению воеводского чина, не останавливаются ни перед чем. Замечено в последнее время, что оные, по научению Невинномысских с товарищи, избрали для своей смуты самую чреду дневного и нощного течения, которую, стараясь

ускорить, питают в сердцах надежду на якобы имеющее наступить рановременно весеннее время. Чему имеете вы, Негодяевы с Ухиными, наблюдать неупустительно. Дабы:

1) Отныне извещать о наступающей смене дня и ночи с пожарных каланчей поднятием флага (день) или же фонаря (ночь).

2) Наблюдать наистрожайше, дабы сие совершалось не чаще, чем по законам естества полагается, с таковым притом предварением, что о всяком преждевременном и излишнем извещении с виновных будет взыскано по всей строгости сих подмётных законов.

3) Ежели который-либо из дежурных на каланче, по природной ли человекам свойственной немощи, или по иной причине, не усмотрит своевременно восходящего уже солнца, то за сие с таковых дежурных взыскиваемо быть не имеет.

4) С таковым, однако же, расчётом, дабы впредь до распоряжения — не вовсе течение времени прекратить».

Пошло тогда в Востоке чистое светопреставление. Встанут людишки рано, на солнышко посмотреть, ан в той стороне, где ему восход бывает, — Держиморда стоит, солнце фалдочками от мундира закрывает. Хотят лавки открывать —

нет приказу, на каланче-то ещё фонарь висит, да сальная свечка в фонаре чад пускает. Ложиться захотят, ан на каланче флаг болтается, а фонаря нет. Значит, надо лавки открывать. Собрались именитые востоковцы, пошли к Негодяеву жаловаться.

— Прикажи, — говорят, — брантмейстеру хоть порядок-то наблюдать…

— Он, — говорит, — и наблюдает по закону.

— Да ведь это какой же закон?

— Тайно-подмётный…

— Мы, — говорят, — коли так, к самому воеводе пойдём.

— Ступайте, — говорит.

А сам вперёд побежал: «Так и так, говорит, бунт!»

Вышел воевода к именитым людям, они перед ним на колени. Давно не видали, обрадовались, слезят, землю целуют: «Милостивец ты наш, ясное солнышко…»

— Чего надо?

— Да только и надо: пущай поаккуратнее с каланчи чреду времени объявляют. Всем будем довольны…

Да кто-то ещё сболтни:

— Календари тоже вот…

Воевода и вспылил.

— Вижу, — говорит, — куда вы гнёте… Календарей захотелось… Мечтатели!..

С тем и ушёл.

Кинулись тогда востоковцы к попам на подворье: «Вы-то, мол, что смотрите, чай, вам к заутрене давно надо звонить. Праздник на дворе!» А поп только бородой мотает: «Приказу, говорит, не было».

— Какой тебе приказ? Чай, праздник-то божий…

А он:

— Всяка душа, — говорит, — да повинуется.

— Да чему, — людишки говорят, — повиноваться-то?

А поп опять:

— Несть бо воевода, аще не от бога…

Так и не добились толку. Много после того в раскол ушло… А тут Негодяев-младший в своей газете опять статью пустил: «Времена, говорит, настали непереносные». Людишки читают и говорят: правда! «Дние, яко же нощь». И опять люди говорят: и это правда. «Людие, говорит, метутся, яко же стадо без пастыря». И это опять в аккурат. «Един, говорит, у нас пастырь — воевода милостивец, а Невинномыские, как волки лютые,

смутили стадо».

— Стало быть, — говорят востоковцы, — и это правда. — Собрались толпой, давай Невинномысских, чем ни попади, глушить. — От вас, говорят, сколько время нам никакого спокою нет. — Перебили тогда этого смирного народу без числа. — Ну, говорят, чай, теперь наш Устаревший успокоится, даст народу одышку…

Да тут, вместо одышки, пущее горе. Когда избивали Невинномысских с товарищи, одного-то, видно, били не по-настоящему. Помереть-то он помер, да перед смертью маленько отдышался. Отдышался, поднял голову, посмотрел на народ, а народ-то уже прокинулся от лютости. Стоят кругом, смотрят, вздыхают. Потом один и говорит:

— Прости ты нас, человек добрый, Христа ради. Глядят, а он только усмехается, тихо таково да ласково.

— Бог простит, — говорит им, — бог вас простит, бедные вы люди. Вы в своей, говорит, темноте тому делу не повинные… Вот, говорит, когда вешнее солнышко над Востоковской округой взойдёт, красное, говорит, вешнее, жаркое… Не будет тогда ни воеводы Устаревшего, ни Негодяевых, а Ухино и семя переведётся… тогда вы и обо мне вспомяните. Я, говорит, в сырой земле

порадуюсь. А теперь, говорит, схороните вы меня честь честью…

С тем и помер.

Запечалились востоковцы. За что столько народу переглушили? Пошли со слезами домой, а которые пожалостливее да посовестливее, взяли того беднягу на руки, принесли к церкви, гроб сколотили, могилу вырыли, давай хоронить. Позвали попа, он было уже ризы надевать, да тут кто-то из Ухиных шепнул: «Вот, мол, кого хоронить будет, воеводского супротивника. Как бы тебе не нагорело». Поп ряску подобрал да задним ходом из церкви убёг, у просвирни схоронился. Видят людишки, нет попа. Подняли гроб, понесли по улицам на погост, сами «со святыми упокой» всем народом поют. Понесли мимо Устаревшего, а он в окно смотрит… Затрясся весь.

«Вот оно, — думает, — упразднение идёт».

Тут уже и Негодяеву-старшему конец пришёл. Призвал его воевода, чины, ордена снял, разжаловал его в хлебопёки: ты, мол, не умеешь порядок делать. Заместо порядка у тебя смута.

Востоковцы было обрадовались: слава те господи, воевода у нас опамятовался. Даже иллюминацию по этому случаю без дозволения начальства зажгли. Ан вышло-то опять хуже:

на место Негодяева воевода призвал старшего сержанта гвардии Мрак-Могильного.

Сержант этот прежде в полиции служил, только промашку раз сделал. Был в городе большой парад, в церкви народу набилось видимо-невидимо. И кто-то, человек без совести, у воеводской тёщи кошелёк из кармана вытащил. Призвал тогда воевода сержанта Мрак-Могильного: «Ты, говорит, у меня за парадами смотришь?» — «Я, ваше воеводство, это точно». — «Как же это у тебя такой случай? Что хочешь, говорит, то и делай, а чтобы вперёд этого ни отнюдь не было».

Думал-думал сержант Мрак-Могильный, как сделать, чтобы уж наверное этого никогда случиться не могло. Да и надумал: поставил у церкви плашку небольшую да заплечного мастера тут же. На колокольне заблаговестили. Народ у церкви сбился, жмутся все, никто в церковь идти не желает, потому что у паперти плаха. Приезжает сам воевода. «Что тут такое, говорит. Ты что это затеял? Зачем плаху у храма божьего поставил?» — «А это, говорит, ваше воеводство, я по вашему указу средство надумал. Теперь уж у меня на парадах ворам-то полно воровать. Стану я, говорит, им правую руку рубить… Левой им несподручно».

Испугался тут воевода.

— Как же ты, — говорит, — воров-то узнавать станешь?

— А что, — сержант отвечает, — мне их узнавать: больно хлопот много, недосуг. Я, — говорит, — кто в церковь идёт, всем по правой руке оттяпаю, так уж тут и вор не уйдёт… Только вот они супротивничают, больно набаловались. Прикажи им подходить. Пожалуйте, господа. Нечего тут!

— Дурак ты, дурак, — говорит воевода. — А ежели вор-то — левша. Ты мне весь народ перепортишь! Доброму-то перекреститься станет нечем, а вор и левшой таскать станет… — Позвал околоточных — велел того сержанта убрать. И посадили его на цепь, потому что со временем стал уже на людей зря кидаться.

То было в прежнее время, а теперь вспомнил воевода про сержанта да прямо с цепи на место Негодяева и посадил.

Стоном застонал город Восток со всеми пригороды и со деревнями, стали Негодяева поминать, отцом родным называть. Кинулись опять к попу: иди, говорят, воеводе от писания скажи, может послушает, опять Негодяева вернёт… А поп опять: «Несть, аще не от бога».

— Неужто, — говорят, — и сержант тоже от бога?

— А то от кого же? Власть предержащая…

Ещё больше тогда народу в раскол ударилось, а воевода и в ус не дует. Думает: ну, теперь сержант уж у меня всех усмирит. А цепной сержант по городу на тройке летает, глаза точно колёса вертятся, усы точно две сабли турецкие, народ от страху от одного умирает.

А весна-то, вместо ранней, и вовсе не идёт. Уж ей давно быть надо, а вместо того кругом снег лежит, по ночам метель воет, деревья подо льдом ломаются. Прилетели было первые ласточки, да скоро позябли. А которые не позябли, за теми сержант с архаровцами гонялся да на площади головы рвал.

Запечалились востоковцы.

— Видно, — говорят, — и впрямь Устаревшему дана такая власть, что может чреду времён прекратить…

Только Невинномыские ещё несколько утешали. «Надейтесь, говорят. Как уже хуже того, что теперь есть, и быть более нечему, то, значит, пойдёт дело к лучшему». Сержант над ними за то лютовал, но они не унимались. А один молодой — самому воеводе на улице крикнул: «Врёшь,

воевода, не сможешь весну победить! Исчезнете оба с сержантом, как черви! Ещё таких примеров не бывало, чтобы воеводскими приказами течение времён воистину отменялось...» Схватили его, а как по расследованию оказалось, что оный крамольник читал историю, то учебники Иловайского приказано все пожечь без остатку...

Кинулся тогда народ из Востоковской округи... Стали собирать пожитки, детей да стариков на телеги сажать да за рубеж, где весну начальство не запрещает, потянулись. Сведал сержант, стал войска собирать... Диву дались востоковцы: ни с кем войны нету, а через город войска идут, казаки скачут, пушки гремят. И все на рубеж. Обложили границу — зверь не прорыщет, птица не пролетит... Сержант доволен:

— Теперь, — говорит, — ваше воеводство, спите спокойно, — я, — говорит, — крамолу эту вывел, людишки больше уж и не ждут ничего: ни им к весне, ни весне к ним ходу нет...

Замерла вся Востоковская округа... Не то сонное, не то мёртвое царство: люди ходят, озираючись, ошалелые, брат брата, отец сына боятся...

Доволен воевода Устаревший, сержанта Мрак-Могильного похваливает...

. . . . . .

Стоял на рубеже с полуденной стороны казак караульный… Поставили казака, велели караулить, чтобы никого за рубеж не пускать, а наипаче, чтобы из-за рубежа не пришло какого неблагополучия… Казак, известно, человек служащий: поставили, стоит; случится что — он в ответе. Стоит да смотрит: кругом снег глубокий лежит, вороньё над снегом летает…

Только вдруг слышит казак: журчит что-то, тихонько таково, крадучись. Послушал он, послушал, потом оглядываться стал: где бы это? Оглядывался, оглядывался, потом креститься начал… И радостно-то ему — видно, и впрямь не осилить божьей весны воеводскими приказами, — и боязно: вдруг этакое да в его караул приключится. Не чаял казак и смены дождаться… Пришла смена — ушёл поскорее, ничего не сказал.

Только ночью глубокой, в самую полночь, — вдруг на рубеже из пищали ударили. А потом в другом месте, в третьем, пошла трескотня по всей линии. Засуетились дежурные, заскакали ординарцы и офицеры. Что такое? С кем воевать, кого отражать? «Весна, такая-сякая, прососалася через рубеж, журчит всюду…» Слушают казаки, крестятся. Лица у всех радостные, только ответа

боятся…

Послали гонца к воеводе. Прискакал гонец в полдень, а в городе-то время полночь на каланче значится. Спят обыватели, ставни всюду заперты, сторожа в трещотки бьют… Один сержант по мёртвому городу скачет, глазами стреляет. Попался ему гонец навстречу: «Стой, что за человек?»

— Гонец к самому воеводе!

— Сказывайся мне, я тебе важнее воеводы. — Известно, обнаглел сержант на всей своей воле. Ну, казак видит: начальство строгое. — Так и так, мол, вашество, — на рубеже весна прососалася.

Чуть сержант с коня не свалился, потом повернул лошадь, поскакал к воеводскому двору, и казак за ним.

А уж по городу точно в набат ударили: никто, кажись, и не слыхал, как казак сержанту про весну докладывал, а вышло так, будто он то слово в набатный колокол ахнул. И случилось тут чудо чудное и диво дивное: на каланче-то ещё фонарь чадит, а по всему городу без начальственного приказу ставни открываются, народ на улицу валит, обнимаются, точно в светлое христово воскресенье, плачут от радости. И у всех одно на уме: ну, видно, весна-то и впрямь воеводских приказов сильнее!

Пошёл по улицам шум… А тут как раз ласточка прилетела. Села пташка божия на воеводском заборе: тилик, тилик, тилик… Кинулись за нею архаровцы, ан людишки (прежде подлым обычаем и сами помогали) — теперь мешают да ножки архаровцам ставят…

На ту пору приехал к воеводе Устаревшему из другой округи начальник какой-то: слышал он, что житьё Устаревшему хорошее, что хочет — делает, и захотелось ему посмотреть, верно ли.

— Верно, — говорит Устаревший. — Всё могу. Вот, — говорит, — нынче я у себя весну запретил…

А на ту пору на улице вдруг из пушки грянули.

— Это, мол, что?

— Это, — ординарец воеводский докладывает, — сержант по ласточкам из пушек палит. Летит их видимо-невидимо из-за рубежа…

— Для чего это он делает? — спрашивает гость.

— А потому, — воевода отвечает, — чтобы людишкам неповадно было. А то — все ведь, глупые, весну поджидают…

Покачал гость головою.

— Ты бы, — говорит, — им лучше дозволил.

— Как же, — говорит, — им дозволить, когда в моей округе дело-то ещё к осени подходит? А за

осенью-то, — говорит, — ещё лето пойдёт…

Он уж и сам поверил своему счёту: думает — и впрямь время назад пошло.

Посмотрел гость на воеводу да давай свои пожитки укладывать: с тобой, говорит, беды наживёшь. Ты бы, говорит, хоть календарь Суворина посмотрел.

— Календарь? — говорит воевода. — Да у меня теперь в округе ни одного календаря не сыщешь. От этих-то вот календарей в наших округах воеводы перевелись, никакой власти не стало. А я воевода природный, у меня этого баловства нет…

— Ну, так прощай, счастливо оставаться. А я у тебя и дня не останусь, когда уж ты с весной воевать принялся. Бывало это и у нас в старину, да добра от этого не видали. Ты бы хоть Иловайского учебник прочитал.

— Я и Иловайского-то всего пожёг…

Поехал гость, глядит: в городе шумно и неспокойно. К полудню солнце поднялось, греть начало, с крыш каплет, по улицам ручьи бегут. Сержант с командою скачет, по ласточкам из пушек палит, народ разгоняет. А народ-то уж не слушается. На стенах плакаты какие-то наклеены, все читают, на шесты тоже листки от суворинских календарей навесили, носят по

городу и все кричат:

— Весна пришла! Долой сержанта!..

Народу всё прибавляется, идут к воеводскому двору. А у воеводского двора команда лопатами воду отгребает, а вода всё прибавляется. Глядел воевода из окна, видит, что команде не управиться, выскочил во всей парадной форме да давай и сам руками потоки весенние загораживать… Оглянулся воевода — слышит: не то что уж вода звенит, народ кругом над воеводою грохочет… Махнул рукой, убежал к себе на вышку. А народу всё больше да больше, запрудили всю площадь, кричат:

— Весна пришла! Подавай нам сержанта на расправу…

Попробовал воевода выйти на крыльцо:

— Кто, — говорит, — я по здешнему месту?

— Ты, — говорят, — воевода Устаревший, с весной воевал, время вспять обращал… Да мы супротив тебя ничего. А подавай нам — кто тебя, Устаревшего, научал. Давай сержанта. Ставь нам опять Негодяева-старшего.

Связали сержанта по рукам, по ногам да на воеводских глазах в воду бросили. Поплыл сержант, как колода с потоками весенними, и на его место — делать нечего — позвал воевода Негодяева.

Вышел Негодяев на крыльцо и говорит народу:

— Молитесь богу, православные. Воевода, по великой милости, дозволяет опять счёт времён повернуть.

— Это что же выйдет? — спрашивают у него.

— А выйдет, что пускай теперь будет Зимний Никола. Через три месяца, гляди, и весну разрешим.

Разлютовался тут народ: «А, говорят, подлое семя. Вы опять за старое. Да нет: нонче уж весна пришла, долой Негодяева!»

Схватили старика. Он кричит: «Братцы, календари разрешим!» Ладно. Связали да и бросили в воду вслед за сержантом.

— Теперь, — говорят Устаревшему, — ставь ты нам Невинномыского-старшего.

Заплакал воевода.

— Детушки, да ведь он враг мне исконный: календари передерживал да канты про весну сочинял.

— То нам и любо. Весна пришла! Ставь Невинномыского.

Нечего делать. Позвал воевода Невинномыского-старшего. «Послужи ты мне, говорит, забудь старое».

— Ладно, ваше воеводство. Мы вам с искони

слуги верные были, только вы не верили. Вот вас до чего Негодяевы, да Ухины, да сержанты довели. Ну, да авось дело поправим. Только уж слушайте меня. — Вышел он к народу, седенький да благолепный, и проливает радостные слёзы:

— Дождались мы, — говорит, — светлого дня. Воевода милостивец весну разрешил: пущай, говорит, будет! Теперь, братцы, на земле мир, в человецех благоволение.

Послушали люди, головами качают.

— Какое, — говорят, — тебе благоволение: вчера сержант из пушек по ласточкам палил, завтра воевода другого архаровца сыщет… Ты нам скажи, как нам навсегда этой срамоты избыть?..

Шумит народ, а Невинномыский всё только в грудь себя колотит да слёзы проливает.

— Братцы, — говорит, — да ведь весну нам разрешили. Календарь скоро новый напечатаем…

— Нет, — говорят, — плох и этот. Давай нам из Невинномыских да поретивее.

Шумели, шумели, даже и драки немало было. Всю ночь воевода на своей вышке дрожмя дрожал. А наутро пришли опять к нему выборные и говорят:

— Вот что, Устаревший: уезжай ты от нас подальше. Грех только из-за тебя выходит… Да и

перед другими округами стыдно. Сделаем мы теперь у себя, как у людей.

— Детушки, — воевода говорит, — зачем меня гнать? Я воеводский мундир сниму, исправницкий надену, вот и ладно.

— Нет, — говорят, — не согласны!

— Думы вам заведу!..

— Мы и сами заведём, без тебя. А с тобой одна срамота. Опять, то и гляди, ухитришься, станешь потоки весенние руками загораживать.

Делать нечего. Сел воевода в колясочку — покатил вон из округа с семейством. Едет по дороге — а кругом-то уж поля зеленеются, воеводе даже чудно:

— Эх, — говорит, — маленько у меня сержант оплошал! Оттого всё и вышло.

В полях людишки пашут, никто-то воеводе шапки не ломает, на станцию приедет, только одни ротозеи и глядят на него, усмехаются. Осердился воевода, так и хочется ему крикнуть:

— Кто я по здешнему месту?

Да только заплачет…

Глядь, на одной станции народ сгрудился. «Что такое, — думает воевода. — Не одумались ли мои людишки, не опять ли меня назад повернуть желают?» Ан нет, это, говорят, мы звездочёта из

чудской земли встречаем, которого воевода за правду сослал…

И верно, — подкатывает к станции звездочёт, борода седая по пояс. Народ «ура!» кричит, с почётом его встречают.

И встретились на станции воевода с звездочётом. Узнал тот воеводу.

— Эх, — говорит, — глупый ты, глупый, воевода, не хотел ты меня слушать. Говорил я тебе про потоки весенние…

— То-то говорил. Я и остерегался.

— Кабы, — говорит звездочёт, — не ваша, Устаревших, манера, что не дадите вы людям слова сказать, сейчас на фельдъегерских в дальние волости ссылаете, так я бы тебе, воеводе, тогда же объявил. Народ у тебя был смирный да повадливый, ни от купцов, ни от бояр, ни от чернеди опасности тебе не было.

— Знаю, от солнца красного да от потоков весенних. Так и вышло.

— То-то и вышло оттого, что ты меня не дослушал. Хотел я тебе сказать: остерегись только воевать с солнцем красным, да с весной, да с потоками весенними. Людишки у тебя на диво смирные, правил бы ты до смерти.

Взял тут он бывшего воеводу и вывел на при-

горок. С пригорка-то далеко видно: кругом поля расстилаются, леса темнеют, речки по земле змеятся и сверкают. По нивам пахари пашут, будто мураши ползают. И где такой мураш проползёт, земля, как бархат, почернеет. И уже половина земли чёрная…

— Гляди, — говорит, — глупый ты человек. Понимаешь ли ты эту силу великую? Была земля вся белая от снегу, господь снег согнал. А человек её чуть не всю ровно бархатом пашней покроет. А ты, глупый воевода, со своим сержантом хотел великое земное стремление удержать и вспять обратить. С весной бороться вздумал…

Посмотрел воевода кругом и вздохнул: «Глупый я, глупый! Неужто я это всё задержать хотел?» А звездочёт говорит:

— Ты бы, воевода, каждой весенней былинке радоваться должен. Ты бы, воевода, смотрел, чтобы никто весне-матушке и великой народной работе мешать не мог. Ты бы великому деланию помогать должен: увидел ты, что в твоей округе новая былинка появилась, ты бы и ту пригрел да окопал. Узнал ты, воевода, что у твоих людишек новая мыслишка в головах засветилась — ты бы и ей помог да поддержал… Или хоть не мешал бы, и то дело! И шло бы в твоей округе великое делание,

и благословляли бы тебя все роды. А пришло бы время, ты же бы сам у себя и перемену сделал… А ты, — смешно сказать, — с календарями воевать стал, по ласточкам из пушек палил, а то и забыл, что иной раз и камни… да что камни — календари с учебниками, — и те супротив тебя возопить могут. Кончено твоё дело, воевода Устаревший, и не познаеши к тому места своего. Аминь!

Так оно и вышло. Завелись после того в Востоковской округе новые порядки, думы да соборы. Первое время не вовсе было спокойно, так что даже порой улица на улицу ходила и волость на волость. Все спорили, как лучше устроить. И не раз на ту пору Устаревшие подсылали отставных околоточных, чтобы народу про них напоминали: дескать, вот при ком спокойно было. Да людишки только смеялись:

— Это те, что руками потоки весенние ловят да вспять обращают? Не надо! Как уж никак перебьёмся, а на эту срамоту не согласны.

Так и перевёлся род Устаревших воевод в Востоковской округе.

Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888)

Лягушка-путешественница

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе с своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не съел её аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась тёплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она. — Какое это наслаждение — жить на свете!»

Дождик моросил по её пёстренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень, и что осенью лягушки не квакают — на это есть весна, — и что, заквакав, она может уронить своё лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: ко-

гда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью — раздаётся в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них. — Лететь ещё далеко; надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть её, большую и толстую квакушку, но всё-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно знать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка. — Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка. — Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть её, но каждая из них

подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопать крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные тёплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце всё-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?

— О! целые тучи! — отвечала утка.

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать её и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.

— Возьмите меня с собой!

— Это мне удивительно! — воскликнула утка. — Как мы тебя возьмём? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали все утки. — Кря, кря! кря! кря! Тут холодно! На юг! На юг!

— Позвольте мне подумать только пять минут, — сказала лягушка, — я сейчас вернусь, я наверно придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлёпнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором она сидела, показалась её морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хоть бы и лёгкую лягушку три тысячи вёрст не бог знает какое удовольствие, но её ум привёл уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести её. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да ещё столько, да полстолька, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести её приходилось не очень часто. Нашли хороший, прочный прутик,

две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и всё стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую её подняли; кроме того, утки летели неровно и дёргали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлёпнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что всё-таки видела и радовалась, и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала», — думала она про себя.

А утки летели вслед за нёсшей её передней парой, кричали и хвалили её.

— Удивительно умная голова наша лягушка, — говорили они, — даже между утками мало таких найдётся.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, ещё крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким обра-

зом целый день: нёсшие её утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик; это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарёю утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперёд, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на неё руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что об ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса.

— Смотрите, смотрите! — кричали дети в одной деревне. — Утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у неё прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали в другой деревне взрослые. — Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали в третьей деревне. — Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уже не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твёрдая дорога, а гораздо дальше, что было для неё большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во всё горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокруг неё никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все по-

прятались в воду. Когда они начали показываться из неё, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чу́дную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у неё были свои собственные утки, которые носили её, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные тёплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте, — сказала она. — Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели её.

Лидия Алексеевна Чарская (1875–1937)

Дочь сказки

Там, где сплелись ветвями ивы зелёные, где глухо шумит день и ночь большое лесное озеро, там, куда золотые звёзды заглядывают по ночам робко и пугливо, — там живёт Сказка-королева.

Много лет королеве; старая она; не одну сотню тысяч лет живёт она на свете. А по лицу и не подумаешь, что такая старуха Сказка. Лицо у неё гладкое, юное, свежее и такое прекрасное, что звёзды любуются, глядя на неё, а озёрные волны глухо шумят, красоте её завидуя. Глаза у Сказки тёмные, глубокие и так горят, что глядеть жутко; щёки румянцем пышут; алые губки как птички щебечут; волосы у Сказки золотою сверкающей волной спускаются до самой земли.

Одета она всегда пёстро и нарядно в одежду не то лиловато-красную, не то голубовато-розовую. И белого, и жёлтого, и зелёного много в её наряде. А на голове — венок из цветов, такой душистый, что голова кружится, если близко подойти к Сказке.

Живёт Сказка-королева в самой чаще зелёного леса. Там у неё замок построен, огромный, нарядный… Стены замка кружевные, ажурные,

из листьев тополей серебристых и плакучих белоствольных берёз и ив; трон — из незабудок и ландышей лесных; стража — двенадцать великанов дубов. Стоят они караулом вокруг дворца Сказки-королевы и охраняют свою повелительницу.

Днём спит Сказка на душистом ложе из полевых цветов, а ночью, когда загорятся на небе золотые звёзды, тогда пробуждается Сказка, протирает свои тёмные, красивые глазки и начинает говорить, но так, что кажется, точно поёт кто-то среди ночной тишины. Всё громче и яснее звучит её плавно-текущая речь… И весь лес, всё её зелёное царство пробуждается тогда и сходится к её замку: приходят звери, слетаются птицы, букашки и мошки, приползают, шурша по траве, змеи и гады. И все слушают, слушают…

И звери, и птицы, и гады, и мошки целые часы стоят вокруг неподвижно, словно зачарованные сладким лепетом Сказки-королевы.

Ах, как хорошо, как захватывающе интересно всё то, что она им говорит! А говорит она много, без устали, говорит о том, что делается на земле и под землёю, в морях и на небе и какие светлые духи живут высоко за облаками, какие тёмные чудища находятся под землёй и в воде. И звери,

заслушавшись Сказку, покорно ложатся у её ног, и змеи смотрят на неё умилёнными глазами, и бурные волны стихают, не завидуя больше её сверкающей красоте, а золотые звёзды улыбаются ещё мягче и ласковее с далёкого неба. Улыбаются и кивают Сказке-королеве… И только с первыми лучами солнца замолкает Сказка, и, утомлённая и счастливая, падает на своё душистое ложе и засыпает на нём, как беззаботный ребёнок на руках няньки.

А двенадцать сторожевых дубов простирают над нею ветви, чтобы защитить ими от солнечных лучей и жары свою королеву…

* * *

Всем хороша и радостна жизнь Сказки в её зелёном царстве. Всем хороша, только…

Одно у прекрасной королевы — большое горе!..

Есть у Сказки дочка — Правда-королевна.

Вы думаете, что такая же она красавица, как и её мать?

Нет!

Вы думаете, что лицо у неё нежное и румяное, а губки милы и постоянно смеются? Опять — нет!

Насколько мать приветлива и прекрасна, настолько дочь её резка со всеми и некрасива.

Королевна ещё девочка, а на вид старше матери. Худая, бледная, со старушечьим лицом, с мрачно горящими глазами, пронизывающими, как молнии, с длинными чёрными волосами…

Правду-королевну никто не любит в зелёном лесу. Звери при виде её ворчат глухо и свирепо. Змеи шипят, посверкивая на неё своими маленькими злыми глазками, а мошки стараются досадить ей, чем только могут.

Давно бы расправились с нею и звери и гады, да только из любви к её матери Сказке не трогают королевну-Правду, да боятся строгого взгляда её больших, блестящих, страшных глаз. Глаза у Правды такие, что от них за десятки, за сотни вёрст убежать хочется. Так и жгут они, так и пронизывают душу. Подойди-ка к ним, попробуй, — не подступишься! А больше всего глаза эти смущают саму Сказку.

Только зачарует кого-нибудь чудными рассказами Сказка-королева, а в эту минуту взглянет Правда на мать своими молниями-глазами, и пошла потеха; запутается, собьётся Сказка, слова рвутся с языка, а выйти из уст не могут. Ни единого звука не в силах под взором дочери произнести старая королева. Беда, да и только!

И звери рычат, и змеи шипят на Правду, а ей

хоть бы что!

Смеётся!

Пристали как-то звери к королеве с просьбой:

— Накинь ты на глаза дочери покрывало, чтоб не видели мы их, чтоб не смущали они зря ни тебя, ни нас.

Послушалась королева… В темноте нежных ночей, по её приказанию, мотыльки тишком сплели из лепестков розы и дикого жасмина пёстрое покрывало на глаза Правды.

Перестали сверкать молниями глаза королевны. Да только от этого лучше не стало. Придёт на ночной праздник Правда и в самый разгар рассказа матери возьмёт и сорвёт покрывало с глаз.

И опять засверкают молнии-глаза, и опять сбивается и путается в речах королева-Сказка. А Правда заливается, хохочет:

— Не так-то легко победить меня, милые!

Снова просят Сказку-королеву звери, гады, насекомые, птицы:

— Отдай ты дочку замуж, Сказка, да подальше куда-нибудь за море, чтобы не мешала она нам жить, радоваться и твой голос слушать.

Призадумалась королева-Сказка.

Жаль ей дочери. Любит она по-своему проказницу Правду. Тяжело с ней расстаться. Да вот

беда: уж очень она своими проделками всем подданным надоела, жить им мешает.

Захочет ли волк у пастуха из стада ягнёнка утащить, глядишь, а Правда тут как тут: сверкнёт своими молниями-глазами, и волк со страху в три прыжка за версту от стада очутится. Повздорят ли звери из-за чего-нибудь (мало ли споров между своими бывает), а Правда опять уж тут. Не стыдит, не бранит их, а только посмотрит, ой-ой, как посмотрит! Жутко на душе становится! Бррр! И, не окончив спора, расходятся по своим берлогам звери. А уж про то, как она матери наперекор всё делает, и говорить нечего.

Подумала-погадала Сказка-королева и решила отдать замуж дочку.

Разослала она зелёных кузнечиков и легкокрылых бабочек по всему свету сватать женихов дочке.

Приехали женихи…

И не один приехал и не два, а целая дюжина женихов сразу. На подбор красавец к красавцу, молодец к молодцу, все заморские короли и принцы. Разные здесь были: и принц Богатырь, и принц Победа, и король Сила, и король Мир, и королевич Дружба, и принц Любовь, и принц Слава, и ещё другие, — всех не перечесть.

Чёрный ворон стоял у входа во дворец и каркал во всё горло, восхваляя достоинства Правды-королевны. Каркал Ворон о том, что у неё, у Правды, всё есть: и могущество, и красота, и добродетель…

А в первой зале дворца встречала женихов сама Сказка-королева:

— Милости просим, гости дорогие, добро пожаловать.

Голос у Сказки как свирель сладкий, а глаза так и зачаровывают.

Короли и принцы как увидели королеву, красавицу писаную, так и зашептали в восторге:

— У такой красавицы не может быть некрасивой дочери… Покажи дочку, королева!

Кликнула Правду Сказка. Выбежала королевна, сдёрнула с глаз покрывало… Да как взглянет!

Господи, Боже мой! Что в этом взгляде было? Женихи все, как один, в обморок попадали, а как в себя пришли, давай бежать из дворца Сказки-королевы.

— Ну и дочка! Ну и Правда-королевна!

А Правда заливается, хохочет.

— Вот и просватали меня! — говорит. — Куда только женихи делись!

Пуще закручинилась Сказка-королева. Не вы-

дать ей замуж дочки. Так дурна собой Правда, что от неё всякий жених за тридевять земель бежит. Что теперь с ней делать?

И вдруг узнаёт Сказка, что едет к ним новый жених, король какой-то. Имени своего говорить не хочет и, что удивительнее всего, гонцов шлёт с дороги сказать королеве, чтобы не беспокоилась из-за уродства дочери, что знает он, как дурна собой её дочка и какие глаза у неё страшные-престрашные, но всё-таки жениться на ней думает, если только сама королевна ему не откажет.

Велела спросить королева, как зовут жениха, но гонцы, строго храня тайну короля, имени его не выдают, прибавляют лишь, что король у них строгий-престрогий.

Заволновалась, засуетилась Сказка-королева, все старания приложила к тому, чтобы получше встретить жениха-короля.

«Если уж не хороша лицом Правда, так пусть хоть могущественной королевной покажется она королю: поведу его в мои сказочные царства, заколдую, заворожу его моими рассказами, увидит он мою власть и женится на дочери ради могущества её матери!» — решила Сказка-королева.

Нарядила дочку, убрала её цветами да на всякий случай глаза новым, только что сотканным,

покрывалом закрыла и пошла с нею встречать на берег озера приезжего короля-незнакомца. Вот услышали они среди ночи звуки труб, звон литавр, увидели роскошную колесницу, а в ней сидит неведомый король, высокий, статный и красивый, только на глазах у него чёрная повязка надета…

Подивилась королева-Сказка такому жениху, однако ничего не сказала.

«Знатный он и важный, по всему видно, а что до повязки, то кому какое дело?» — подумала она.

И так ей захотелось дочку за короля выдать, что тут же она свои чары на него напустила.

Стала рассказывать Сказка-королева… Залепетали её розовые губки… И под этот лепет и сама она, и королевна-дочка, и король приезжий стали опускаться медленно и тихо в глубокое, бурливое, лесное озеро.

— Вот моё царство! — говорит королева гостю и снова лепечет, шепчет дивные сказки розовыми устами… И под чарующие звуки её голоса, журчащие сладко, как рокот арфы, расступились воды лесного озера, встали двумя стенами по обе стороны и образовали проход к роскошному хрустальному дворцу. Целая толпа светлооких русалок выбежала навстречу, и все пали ниц пе-

ред Сказкой-королевой. Все приветствовали её. А белые кувшинки с лицами подводных красавиц протягивали пришедшим свои чашечки, в которых были всевозможные сласти и лакомства. В хрустальном дворце звучала невидимая музыка, и сюда вошла Сказка с Правдой и её женихом.

Лишь только вошли, встал сам царь Водяной со своего трона и уступил его королеве-Сказке.

А прекрасные светлоокие девы сплелись в стройные хороводы и стали плясать лёгкий и грациозный танец.

— Вот моё царство! Не правда ли, как я могущественна и сильна? — произнесла торжествующе королева и ждала, что ответит ей её гость, жених Правды. Но гость не успел ответить.

Звонко засмеялась проказница Правда и сдёрнула со своих глаз покрывало…

Исчез дворец хрустальный, исчезли яства в чашечках кувшинок, исчезли светлоокие плясуньи-русалки… Всё пропало, как сон…

Королева с дочерью и её женихом стояли на берегу лесного озера, и, как ни в чём не бывало, глухо шумели его тёмные воды там, далеко внизу…

Разгневалась на дочь Сказка-королева, хотела разбранить её при госте, да побоялась.

Хуже не было бы! Чего доброго, не женится ещё, отдумает король!

А король улыбнулся только. И показалось или нет Сказке, только повязка у него чуть сползла с левого глаза и лицо чуточку больше открылось.

Ещё больше заволновалась Сказка, набросила опять покрывало на глаза Правды и с большим жаром стала рассказывать снова.

И чудные картины её рассказа опять развернулись перед женихом-гостем. Опять сладко зазвучал прекрасный, мелодичный голос Сказки, и под эти чарующие звуки подъехала лёгкая серебряная колесница, запряжённая белыми конями.

— Садитесь, король, я покажу вам другое моё царство! — произнесла Сказка и, легко впрыгнув в воздушный экипаж с дочерью и гостем, понеслась к небу, к золотым звёздам.

Там они увидели роскошные замки, причудливые, беседки и голубые сады, все залитые дивным, серебристо-малиновым светом. Какие-то странные крылатые существа, прозрачные, как лунные лучи, окружали теперь их колесницу. Золотые звёзды, казавшиеся с земли ярко горящими фонариками, здесь оказывались огромными золотыми дворцами и замками. У одного из таких замков

остановились серебряные кони. Крылатые прозрачные существа бросились проворно и ловко прислуживать приехавшим и предупредительно помогли им выйти из серебряной колесницы. Королева пригласила своего гостя войти в золотой дворец… Тот перешагнул порог его и тихо вскрикнул: несметные сокровища наполняли огромные залы… Тут были грудою навалены драгоценные камни — алмазы, яхонты, сапфиры, изумруды, рубины… Драгоценной рекою переливались брильянты… И у каждой такой груды стояло на страже крылатое существо, в виде страшного дракона, карауля сокровища…

— Вот мои богатства. Найдёте ли вы ещё что-нибудь такое на земле? — произнесла Сказка-королева, обращаясь к своему гостю.

Но тут снова худенькая ручка Правды быстро сорвала покрывало с глаз, и…

И… всё исчезло в один миг, а разгневанная королева, гость-жених и королевна-Правда очутились в лесной чаще у входа в замок Сказки-королевы.

Снова улыбнулся король-незнакомец, и опять показалось матери и дочери, что повязка с его глаз сползла ещё немного.

Бросила Сказка суровый взгляд на Правду-королевну и, наскоро прикрыв её лицо покрывалом,

вновь повела свой рассказ.

Опять полились дивные, певучие звуки Сказки, и под эту музыку, чарующую и сладкую, ожил лес. Огромные сторожевые дубы превратились в рыцарей-великанов, гибкие тополи — в лесных нимф, древесные пни — в карликов-гномов, цветы — в нарядных красавчиков эльфов… Светляки зажглись в кустах, и весь лес осветился… Сверчки затрещали в траве, а певцы-соловьи слетелись к замку Сказки-королевы и засвистели-запели такую красивую, такую упоительную песню, что сама королева-Сказка, всё ещё не переставая рассказывать, закружилась под эту музыку по огромной, ярко освещённой зале дворца… За нею закружились великаны и нимфы, эльфы и карлики… Всё заплясало…

Ночные цветы раскрыли свои глазки и с жадным любопытством смотрели на волшебный бал.

— Вот видите, король, как всё хорошо и радостно в моём царстве, — произнесла с гордостью Сказка, снова обращаясь к гостю, — посмотрите, как веселятся мои подданные, как они всем довольны! И сколько могучих великанов, лесных карлов и воздушных эльфов подвластны мне!

Но едва только успела сказать это Сказка-коро-

лева, как Правда опять сорвала с глаз покрывало, и в одну секунду превратились великаны-рыцари в исполинов дубов, карлы — в лесные пни, лесные нимфы — в стройных тополей, а эльфы — в простые цветы. Разом опустел нарядный зал, потухли огни светляков, замолкли певцы-соловьи… Всё исчезло, скрылось, словно ничего и не было.

Пропала, исчезла и повязка с глаз короля. Он стоял теперь перед Правдой-королевной и её матерью во всём блеске своей красоты. Тёмные глаза его с любовью остановились на худом, некрасивом личике Правды, на её мрачно горящих глазах.

— Милая, милая Правда-королевна! — произнёс он ласковым, нежным голосом. — Давно я тебя знаю, давно ищу тебя по всему свету! И вот только теперь нашёл тебя наконец и уж не покину, увезу с собою. Не место тебе здесь, Правда. Я увезу тебя навсегда в большое людское царство; ты подружишься там с людьми, окружишь их своими заботами и ласками, и люди станут добрее и лучше от близости к Правде-королевне.

И ещё ласковее, ещё нежнее загорелся тёмный взгляд короля. И странно: чем больше смотрел он на свою невесту, тем лучше и лучше становилось некрасивое личико Правды, а когда он взял её

за руку и подвёл к своей колеснице, чтобы навсегда отвезти отсюда Правду, Сказка не узнала дочери: мрачные глаза её сияли чудным светом, и нежный румянец счастья преобразил совсем её ожившие черты. И стала такой красавицей Правда, что Сказка-королева перед ней со всей своей красотой померкла, потускнела.

— Кто ты, прекрасный король? — прошептала Правда, простившись с матерью и заняв место подле жениха в его колеснице.

— Я король Справедливости и Правосудия, — громко и внятно произнёс король и, наклонившись, поцеловал Правду. — Мне одному без Правды жить немыслимо. Без неё не могу я один управлять моим царством. Мы с ней должны быть неразлучны и служить людям и повелевать ими в одно и то же время! Едем же, едем к ним, в далёкое, людское царство!

Сказал, — и взвились на воздух быстрые кони… Взвились и умчали колесницу с королём Справедливости и Правосудия и королевной Правдой.

А Сказка-королева в своём лесу осталась зачаровывать своими рассказами зверей, птиц, гадов и насекомых. Теперь её чарам не помешает проказница дочка… Не близко она… В далёкое, светлое, людское царство умчали её кони короля-жениха.

Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957)

Купальские огни[4]

Закатное солнце, прячась в тучу, заскалило зубы[5] — брызнул дробный дождь. Притупил дождь косу, прибил пыль по дороге и закатился с солнцем на ночной покой.

Коровы, положа хвост на спину, не мыча, прошли. Не пыль — тучи мух провожали скот с поля домой.

На болоте болтали лягушки-квакушки.

И *дикая кошка* — жёлтая иволга унесла в клюве вечер за шумучий бор, там разорила гнездо соловью, села ночевать под чёрной смородиной.

Тёплыми звёздами опрокинулась над землёй чарая[6] Купальская ночь.

Из тенистых могил и тёмных погребов встало Навье[7].

---

[4] Примечания: 4

Купальские огни — канун Иванова дня, с 23 на 24 июня.

[5] Примечания: 5

Солнце заскалило зубы — чёрт дочку замуж выдаёт — так говорится, когда светит солнце и в то же время идёт дождь.

[6] Примечания: 6

Чарая — носящая в себе чары.

[7] Примечания: 7

Навье, навы — мертвецы, покойники, выходцы с того света; нава — смерть.

Плавали по полю воздушные корабли. Кудеяр-разбойник стоял на корме, помахивал красным платочком. Катили с погостов погребальные сани. Сами вёдра шли на речку по воду. В чаще расставлялись столы, убирались скатертями. И гремел в болотных огнях Навий пир мертвецов.

Криксы-ваксы[8] скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород, оттяпали хвост попову кобелю, затесались в малинник, там подпалили собачий хвост, играли с хвостом.

У развилистого вяза растворялась земля, выходили из-под земли на свет посмотреть зарытые клады. И зарочные три головы[9] молодецких, и сто голов воробьиных, и кобылья сивая холка подмаргивали зелёным глазом — плакались.

Бросил Чёрт свои кулички[10], скучно: небо

---

[8] Примечания: 8

Криксы-ваксы — мифическое существо, олицетворение детского крика. Если ребёнок кричит, надо нести его в курник и, качая, приговаривать: «Криксы-ваксы! идите вы за крутые горы, за тёмные лесы от младенца такого-то». Крикса — плакса. Ваксa — пустомеля. Ваксать — вахлять, валять.

[9] Примечания: 9

Зарочные три головы и т. д. — зарекать, запрещать. Обыкновенно клады зарывались с зароком, чтобы, скажем, погибло три человека и сто воробьёв, и тогда пускай даётся клад в руки.

[10] Примечания: 10

Кулички — кулича, выкорчёванный лес; поговорка возникла при первом корчевании, когда на таких выселках поселялись и имелась в виду отдалённость. См.: Максимов С. Крылатые слова. СПб., 1890.

заколочено досками, не звонит колокольчик, — поманулось рогатому погулять по Купальской ночи. Без него и ночь не в ночь. Забрал Чёрт своих чертяток, глянул на четыре стороны, да как чокнется[11] об земь, посыпались искры из глаз.

И потянулись на чёртов зов с речного дна косматые русалки; приковылял дед Водяной, старый хрен кряхтел да осочьим корневищем помахивал — чтоб ему пусто!

Выползла из-под дуба-сорокавца[12], из-под ярого руна сама змея Скоропея[13]. Переваливаясь, поползла на своих гусиных лапах, лютые все двенадцать голов — пухотные, рвотные, блевотные, тошнотные, волдырные и рябая и ясная катились месяцем. Скликнула-вызвала Скоропея своих змей-змеёнышей. И они — домовые, полевые, луговые, лозовые, подтынные, подрубежные приползли из своих нор.

Зачесал Чёрт затылок от удовольствия.

Тут прискакала на ступе Яга. Стала Яга хороводницей. И водили хоровод не по-нашему.

---

[11] Примечания: 11
Чокнется — чек, бух, хлоп, стук, бряк, шлёп — звук удара.

[12] Примечания: 12
Дуб-сорокавец — древний дуб.

[13] Примечания: 13
Скоропея — скорпий, идол Скоропит. Scorpio.

— Гуш-гуш, хай-хай[14], обломи тебя облом![15] — отмахивался да плевал заплутавшийся в лесу колдун Фаладей, неподтыканный[16] старик с мухой в носу[17].

А им и горя нет. Защекотали до смерти под ёлкой Аришку, втопили в болото Рагулю — пошатаешься! — ненароком задавили зайчонка.

Пошла заюшка собирать подорожник: авось поможет!

С грехом пополам перевалило за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь.

Купальская ночь колыхала тёплыми звёздами, лелеяла.

Распустившийся в полночь купальский цветок горел и сиял, точно звёздочка.

И бродили среди ночи нагие бабы — глаз бе-

---

[14] Примечания: 14

Гуш-гуш, хай-хай — восклицание на отогнание беса.

[15] Примечания: 15

Облом — нечистый, дьявол.

[16] Примечания: 16

Неподтыканный — независимый и неприкосновенный. Тронь-ка, попробуй, он тебе даст!

[17] Примечания: 17

С мухой в носу — колдун. В Белоруссии о колдуне говорят: «У него мухи в носе». Нечистая сила охотно превращается в мух. Выражение про человека, что он «с мухой», означает, что тот человек находится в опьянении. Водка — кровь Сатанина. См.: Тиханов П. Брянский говор. Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. наук, т. LXXVI, № 4.

лый, серый, жёлтый, забатый, — худые думы, тёмные речи.

У Ивана-царевича в высоком терему сидел в гостях поп Иван. Судили-рядили, как русскому царству быть, говорили заклятские слова. Заткнув ладонь за семишёлковый кушак, играл царевич насыпным перстеньком, у Ивана-попа из-под ворота торчал козьей бородой чёртов хвост.

— Приходи вчера![18] — улыбнулся царевич.

А далёким-далёко гулким походом[19] гнался серый Волк, нёс от Кощея живую воду и мёртвую.

Доможил-Домовой толкал под ледащий бок — гладил Бабу-ягу. Притрушенная папоротником, задрала ноги Яга: Привиделся Яге на купальской заре обрада[20] — молодой Сон.

Леший крал дороги в лесу да посвистывал — тешил мохнатый свои совьи глаза.

За горами, за долами по синему камню бежит

---

[18] Примечания: 18

Приходи вчера — говорит против действия живой злоехидной силы. См.: Максимов С. Крылатые слова.

[19] Примечания: 19

Гулким походом — ходом.

[20] Примечания: 20

Обрада — желанный.

вода, там в дремливой лебеде Сорока-щектуха[21] загоралась жар-птицей.

По реке тихой поплыней[22] плывут двенадцать грешных дев, белый камень алатырь[23], что цвет, томно светится в их тонких перстах.

И восхикала лебедью алая Вытарашка[24], раскинула крылья зарёй — не угнать её в чёрную печь, — знобит неугасимая горячую кровь, ретивое сердце, истомлённое купальским огнём.

---

[21] Примечания: 21

Сорока-щектуха — щекотуха. В одном заговоре говорится: «От всякой злой птицы, сороки-щектухи, от чёрного ворона».

[22] Примечания: 22

Тихой поплыней — тихо плывя.

[23] Примечания: 23

Камень алатырь — в русских средневековых легендах обладает чудесными целебными свойствами, лежит в море. Алатырское — древнее название Балтийского моря.

[24] Примечания: 24

Вытарашка — олицетворение любовной страсти, лишающей человека рассудка: её ничем не возьмёшь и в чёрную печь не угонишь, как выражается один заговор на просуху. См.: Зеленин Д. Отчёт о диалектологической поездке в Вятскую губернию. Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. наук, т. LXXVI, № 2. Вытарашка — также название вечно тревожащегося, мечущегося человека.

Алексей Николаевич Толстой (1883–1945)

Иван да Марья

Десятая неделя после Пасхи — купальские дни.

Солнце самый пуп земли печёт, и зацветает дивная Полынь-трава. В озёра, на самое зелёное дно, под коряги подводные, под водоросли глядит огненное солнце.

Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера, в лунные ночи уходят они из вод озёрных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древяницами.

Это присказка, а сказка вот какая.

Жили-были брат Иван да сестра Марья в избёнке на берегу озера.

Озеро тихое, а слава о нём дурная: водяной шалит.

Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, захлюпают по воде словно вальками, и выкатит из камышей на дубовой коряге водяной, на голове колпак, тиной обмотан. Увидишь, прячься — под воду утянет.

Строго брат Иван наказывал сестре Марье:

— Отлучусь я, так ты после сумерек из хаты — ни ногой, песни не пой над озёрной водой, сиди смирно, тихо, как мыши сидят…

— Слушаю, братец! — говорит Марья.

Ушёл Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть; облокотилась она и запела:

Где ты, месяц золотой? —
Ходит месяц над водой, —
В глыбко озеро взглянул,
В тёмных водах утонул…

Вдруг стукнуло в ставню.

— Кто тут?

— Выдь к нам, выдь к нам, — говорят за ставней тонкие голоса.

Выбежала Марья и ахнула.

От озера до хаты — хороводы русалочьи.

Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют.

Всплеснула Марья ладошами. Куда тут! — обступили её мавки, венок надели…

— К нам, к нам в хоровод, ты краше всех, будь наша царица. — Взяли Марью за руки и закружились.

Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке.

— Здравствуй, Марья, — захрипел водяной, — давно я тебя поджидал… — И потянулся к ней лапами…

Поздним утром пришёл Иван. Туда, сюда — нет сестрицы. И видит — на берегу башмаки её лежат и поясок.

Сел Иван и заплакал.

А дни идут, солнце ближе к земле надвигается.

Настала купальская неделя.

«Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать, вот только лапти новые справлю».

Нашёл за озером липку, ободрал, сплёл лапти и пошёл к чужим людям.

Шёл, шёл, видит — стоит голая липка, с которой он лыки драл.

«Ишь ты, назад завернул», — подумал Иван и пошёл в другую сторону.

Кружил по лесу и опять видит голую липку.

— Наважденье, — испугался Иван, побежал рысью.

А лапти сами на старое место загибают…

Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом:

— Не руби меня, милый братец…

У Ивана и топор вывалился.

— Сестрица, ты ли?

— Я, братец; царь водяной меня в жёны взял, теперь я древяница, а с весны опять русалкой

буду… Когда ты с меня лыки драл, наговаривала я, чтобы не уходил отсюда далеко.

— А нельзя тебе от водяного уйти?

— Можно, найти нужно Полынь-траву на зыбком месте и мне в лицо бросить.

И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу.

Ветер в ушах свистит, летят лапти над землёй, поднимаются, и вверх в чёрную тучу мчится Иван.

«Не упасть бы», — подумал и зацепился за серую тучу — зыбкое место.

Пошёл по туче — ни куста кругом, ни травинки.

Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка.

— Зачем сюда пришёл? — заревел мужичок, как бык, откуда голос взялся.

— Я за Полынь-травою, — поклонился Иван.

— Дам тебе Полынь-траву, только побори меня цыганской ухваткой.

Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули.

Силён мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают.

Стал Иван перетягивать.

— Счастье твоё, — рычит мужичок, — быть бы тебе на седьмом небе, много я закинул туда вашего брата. Получай Полынь-траву. — И бросил ему пучок.

Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток как заревёт, как загрохочет и язык красный из тучи то метнёт, то втянет.

Добежал до липки Иван и видит — сидит на земле страшный дед, водит усами…

— Пусти, — кричит Иван, — знаю, кто ты, не хочешь ли этого? — И ткнул водяному в лицо Полынь-травою.

Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьём быстрым в озеро.

А Иван в липку бросил Полынь-траву, вышла из липки сестрица Марья, обняла брата, заплакала, засмеялась.

Избушку у озера бросили они и ушли за тёмный лес — на чистом поле жить, не разлучаться.

И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе — Иван да Марья, Иван да Марья.

Иван-царевич и Алая-Алица

Скучно стало Ивану-царевичу, взял он у матушки благословение и пошёл на охоту. А идти ему старым лесом.

Настала зимняя ночь.

В лесу то светло, то темно; по спелому снегу мороз потрескивает.

Откуда ни возьмись выскочил заяц; наложил Иван-царевич стрелу, а заяц обернулся клубком и покатился. Иван-царевич за ним следом побежал.

Летит клубок, хрустит снежок, и расступились сосны, открылась поляна, на поляне стоит белый терем, на двенадцати башнях — двенадцать голов медвежьих… Сверху месяц горит, переливаются стрельчатые окна.

Клубок докатился, лунь-птицей обернулся: сел на воротах. Испугался Иван-царевич, — вещую птицу застрелить хотел, — снял шапку.

— Прости глупость мою, лунь-птица, невдомёк мне, когда ты зайцем бежал.

— Меня Алая-Алица, ясная красавица, жижова пленница, за тобой послала, — отвечает ему лунь-птица, — давно стережёт её старый жиж.

— Войди, Иван-царевич, — жалобно прозвенел из терема голос.

По ледяному мосту пробежал, распахнул ворота Иван-царевич — оскалились медвежьи головы. Вышиб ногой дверь в светлицу: видит — на нетопленой печурке сидит жиж, голова у него медная, глазами ворочает.

— Ты зачем объявился? Или две головы на плечах? — зарычал жиж.

Прицелился Иван-царевич и вогнал золотую стрелу между глаз старому жижу.

Упал жиж, дым повалил у него изо рта, вылетело красное пламя и поняло терем. Иван-царевич побежал в светлицу. У окна, серебряными цепями прикована, сидит Алая-Алица, плачет… Разрубил цепи, взял Иван-царевич на руки царевну и выскочил с ней в окошко.

Рухнул зимний терем и облаком поднялся к синему небу. Сбежал снег с поляны, на земле поднялись, зацвели цветы. Распустились по деревьям клейкие листья.

Откуда ни возьмись прибежали тоненькие, синие ещё от зимнего недоеда, русалки-мавки, закачались на деревьях; пришёл журавль на одной ноге; закуковала кукушка; лешие захлопали в деревянные ладоши; позык аукался.

Шум, гам, пение птичье…

И по синему небу раскатился, загрохотал апрельский гром.

И узнали все на свете, что Иван-царевич справляет свадьбу с Алой-Алицей, весенней царевной.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)

Прекрасная Царевна и счастливый карла. *Старинная сказка, или Новая карикатура*5

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)

Три пояса 22

Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери 44

Война мышей и лягушек. (*Отрывок*) 68

Антоний Алексеевич Погорельский (1787–1836)

Чёрная курица, или Подземные жители 85

Орест Михайлович Сомов (1793–1833)

Оборотень. *Народная сказка* 129

Сказка о медведе Костоломе и об Иване, купеческом сыне 147

Сказка о Никите Вдовиниче 153

Владимир Фёдорович Одоевский (1803–1862)

Городок в табакерке 175

Лев Николаевич Толстой (1828–1910)

Работник Емельян и пустой барабан 186
Праведный судья 197
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912)
Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку. *Присказка* 202
Владимир Галактионович Короленко (1853–1921)
Стой, солнце, и не движись, луна! 247
Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888)
Лягушка-путешественница 283
Лидия Алексеевна Чарская (1875–1937)
Дочь Сказки 290
Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957)
Купальские огни 304
Алексей Николаевич Толстой (1883–1945)
Иван да Марья 310
Иван-царевич и Алая-Алица 314